

Г.Г.Красухин

Путеводитель по роману  
**А.С.ПУШКИНА**  
**«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»**

Учебное пособие

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
2006

**Редакционная коллегия серии:**

Г.Г.Красухин, проф. МПГУ (председатель), Н.С.Тимофеев, директор Издательства МГУ (заместитель председателя); Н.А.Богомолов, проф. МГУ; С.Ф.Дмитренко, соредактор газеты «Литература»; В.Б.Катаев, проф. МГУ; Н. В. Корниенко, гл. научный сотрудник ИМЛИ им. М. Горького, чл.-корр. РАН; В.И. Коровин, проф. МПГУ; Л.В. Кутукова, ведущий редактор Издательства МГУ; О.А.Лекманов, проф. МГУ; Ю.В.Манин, проф. РГГУ; В.А. Неджецкий, проф. МГУ; Л.И.Соболев, учитель московской гимназии № 1567; Г.М.Степаненко, главный редактор Издательства МГУ; И.О. Шайтанов, проф. РГГУ

**Красухин Г.Г.**

К78 Путеводитель по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Учебное пособие -- М.: Изд-во МГУ, 2006. — 128 с. — (Медленное чтение). ISBN 5-211-05214-5

Эта книга — живой, увлекательный рассказ о пушкинской «Капитанской дочке», цель которого — дать читателю представление и об истории создания романа, и о его исторических, бытовых, социологических, литературоведческих, мифологических, религиозных реалиях, о значимости имен его героев, о его символике, о реакции критики на его появление и на его дальнейшее существование в литературе.

Для учителей школ, лицеев и гимназий, студентов, старшеклассников, абитуриентов, специалистов-филологов и широкого круга читателей.

**УДК 82**

**ББК 83.3 (2Рос-Рус)6**

ISBN 5—211—05214—5

© Издательство Московского университета, 2006 г.

*От редакционной коллегии* ..... 4

4

На какой текст мы будем опираться *{вместо предисловия}* ... 5

Ошибка князя Вяземского ..... 7

Легко ли быть искренним? ..... 11

Роман или повесть? ..... 17

«Да кто его отец?» ..... 24

Волк? Человек? ..... 36

Старинные люди ..... 45

Друзья — соперники — враги ..... 50

Испытания любви ..... 61

Торжество зверства ..... 69

«...Как это вы с Пугачевым-то поладили!» ..... 84

Милость или правосудие? ..... 100

19 октября 1836 года *{вместо заключения}* ..... 116

*Рекомендуемая литература* ..... 122

*Указатель имен* ..... 125

Серия *«Медленное чтение»* включает в себя книги—путеводители по произведениям, входящим в обязательный школьный стандарт, и потому она обращена прежде всего к преподавателям средней и высшей школы, студентам и учащимся.

Как показывает практика, отдаленность во времени затрудняет изучение того или иного произведения (особенно классического) из-за неясности реалий, истолкование которых не встретишь не только в комментариях к тексту в собраниях сочинений писателя, но и в специально написанных комментариях к данному произведению.

И не одна лишь отдаленность во времени диктует необходимость в таких книгах. Даже современная литература подчас несет на себе оттенки местного колорита, или, как говорил Тютчев, «гения места», который требует непрямого подробнейшего разъяснения.

Читатель найдет в путеводителе абсолютно все необходимые ему сведения — от особенностей жанра данного произведения, истолкования его стиля и персонажей, объяснения всех его так называемых «темных мест» до рекомендательного списка обязательной литературы. Таким образом, подобные путеводители явятся пособиями, не имеющими пока аналогов в учебно-познавательной литературе.

## На какой текст мы будем опираться

(вместо предисловия)

Разумеется, на тот, который написан Пушкиным. Точнее, не только написан, но и утвержден им: напечатан при его жизни и с его согласия.

Черновики «Капитанской дочки» поэт, очевидно, уничтожил, осталась только несколько разрозненных черновых кусков — «Введение», от которого Пушкин впоследствии отказался, «Заключение» — это название поэт снял, отделив его текст в окончательном варианте от остального чертой, и так называемая «Пропущенная глава». Но «беловая» рукопись сохранена почти полностью (без главы VII). «Беловая» — это, так сказать, перебеленная рукопись, которую автор отдает наборщикам, порой считая нужным внести и в нее необходимую ему правку.

Бывает, что и на этом работа над текстом не заканчивается: получив гранки, автор волен что-то в них вычеркивать, что-то вписывать, что-то изменять.

Но нам-то с вами какое до этого дело?

Никакого бы и не было, не останься в бумагах Пушкина помянутого белого автографа (о других материалах, связанных с «Капитанской дочкой», оставшихся в пушкинских бумагах, мы скажем позже).

Этот белой автограф, беловая пушкинская рукопись открыла для текстологов огромные возможности для субъективных манипуляций с текстом «Капитанской дочки». Многие не ограничились тем, что напечатано самим Пушкиным, но, опираясь на его рукопись, по своему усмотрению дополняли или изменяли текст романа. К великому сожалению, такие дополнения и исправления попали даже в академическое Полное собрание сочинений поэта в 16 томах (21 книга), которое узаконило для позднейших изданий романа текст не пушкинский, а правленный советскими публикаторами.

Поэтому, хотя во всех остальных случаях мы будем обращаться именно к этому шестнадцатитомнику, «Капитанскую дочку» мы с вами читать по нему не будем. Наш путеводитель основан

на том тексте, который напечатан при жизни Пушкина и перепечатан в популярной серии «Литературные памятники» (вышло два издания, и хотя текст пушкинского романа в них идентичен, мы обращаемся к последнему, второму изданию 1984 года).

Правда, и в этой книге в целом добросовестные публикаторы не удержались от своеволия — от таких вставок из рукописи в текст, отсутствие там которых, по их мнению, «бесспорно объясняется цензурными опасениями»<sup>1</sup>.

Слава Богу, что таких вставок не так уж и много. Всего три.

В главе I, где разочарованный решением отца послать его служить не в гвардейский петербургский полк, к какому Петруша был приписан с рождения, а в Оренбург к боевому отцовскому приятелю-генералу, который должен был определить место прохождения армейской службы Гринева, тот сетует: «Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной». Здесь для чего-то публикаторы восстановили эпитет «гарнизонная» к слову «скука», вычеркнутый Пушкиным. Хотя при чем здесь «цензурные опасения»? Скорее всего эпитет убран из текста для того, чтобы показать явную осведомленность Гринева, что в Петербурге жить несравнимо веселее, чем «в стороне глухой и отдаленной». К тому же каково служить в гарнизоне, — Петруша пока что не знает.

В главе X, где, выслушав донесение Гринева, прибывшего из только что взятой Пугачевым Белогорской крепости, оренбургский генерал собирает военный совет, публикаторы восстановили характеристику этого совета, вычеркнутую Пушкиным: «Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека». И хотя пустое дело — решать за Пушкина, почему он выбросил подобную фразу, можно предположить, что он почувствовал, что, оставив ее, бросает тень на компетентность совета, который принял в принципе разумное, хотя и не устраивающее Петрушу решение.

Наконец, в главе XIII, где Гринев воюет в гусарском отряде Зурина. «Не стану описывать нашего похода и окончания войны, — вспоминает Петруша. — Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности». «Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти», — продолжил в рукописи Пушкин, но впоследствии вычеркнул эту фразу, за которой следует: «Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки

разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно...» Очевидно же, что Пушкин убрал эту фразу не из опасения перед цензурой, а из-за некоего алогизма вырисовывающейся картины событий: Петруша, заявивший: «Не стану описывать нашего похода...» — вдруг забывает об этом и начинает именно его описывать, начинает вдаваться в его детали. Так что, восстановив зачеркнутое, публикаторы вернули тексту алогичность (иными словами, исказили его!). А ведь в данном случае Пушкин явно стремился к предельной обобщенности. К тому, чтобы его Гринев смог завершить свое описание беспредела и беззакония фразой, вошедшей в лексикон нашей национальной мудрости: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Зряшное это дело — восстанавливать то, что отбросил Пушкин!

Поэтому договоримся: мы не будем обращать внимание на три этих «добавления». Отмахнемся от них как от досадных недоразумений. Тем более что остальной текст романа, изданного в этой серии, пушкинский.

## Ошибка князя Вяземского

«Капитанская дочка» впервые появилась в четвертом номере пушкинского журнала «Современник», который вышел из печати 22 декабря 1836 года. А месяца за полтора до этого, в ноябре (до 9-го, как полагают исследователи), П.А. Вяземский, у которого Пушкин 1 ноября читал друзьям этот роман, пишет автору свои замечания:

«Кто-то заметил, кажется, Долгорукий, что *Потемкин* не был в пугачевщину еще первым лицом, и, следовательно, нельзя было Пугачеву сказать: *сделаю тебя фельдмаршалом, сделаю Потемкиным*. — Да и не напоминает ли это французскую драму: *je te ferai Dolgoroucki*?<sup>2</sup>

*Важные поступки* где-то, кажется, о Пугачеве у тебя сказано. Гоголь может быть в претензии.

Можно ли было молодого человека, записанного в гвардию, прямо по своему произволу определить в армию? А отец Петра Андреевича так поступил — написал письмо к генералу и только. Если уж есть письмо, то, кажется, в письме нужно просить гене-

<sup>1</sup> Пушкин А.С. Капитанская дочка. 2-е изд., доп. 1-е изд. подготовил Ю.Г. Оксман. Л., 1984. С. 281.

<sup>2</sup> Я сделаю тебя Долгоруким (фр.).

рала о содействии его к переводу в армию. А то письмо не правдоподобно. Не будь письма на лице, можно предполагать, что эти побочные обстоятельства выпущены автором, — но в письме отца они необходимы.

*Абшит* говорится только об указе отставки, а у тебя, кажется, взят он в другом смысле.

Кажется, зимою у тебя река где-то не замерзла, а темнеет в берегах, покрытых снегом. Оно бывает с начала, но у тебя чуть ли не посреди зимы»<sup>3</sup>.

Пушкин во многом согласился с Вяземским. Убрал Потемкина. Так что Пугачев, обещая Петруше щедро вознаградить его, если тот послужит ему «верой и правдою», обходится теперь без конкретных фамилий: «...я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья». Снял Пушкин сходство своего героя с гоголевским из «Ревизора». Ведь это Добчинский, делясь с Анной Андреевной своими первыми впечатлениями от Хлестакова, почтительно отзывался о том, как вел себя с городничим столичный постоялец гостиницы: «Важные поступки-с». Вот почему восхищенный Пугачевым казак, рассказывая о нем Гриневу, произносит не эти слова, а другие: «Все приемы такие важные...»

Согласился Пушкин с Вяземским и в том, что, раз письмо отца Петруши генералу «на лице» (налицо) в романе, Гринев-старший не должен отступать от существовавших тогда правил. Должен просить адресата, своего старого армейского товарища, посодействовать переводу сына в армию из гвардии — из гвардейского Семеновского полка, куда Петруша записан с рождения сержантом. Поэтому, проборматывая вслух отдельные фразы из письма отца Гринева, генерал озвучивает и такую: «Отписать в Семеновский», комментируя ее: «Хорошо, хорошо: все будет сделано...» И слова «абшит» мы в «Капитанской дочке» не встретим: снова Пушкин признал правоту Вяземского (из рукописи ясно, что Пушкин разумел под этим словом паспорт, — «пашпорт», как произносит это слово в окончательном тексте отец Гринева, — т.е. свидетельство, подписанное командиром Семеновского полка, которое разрешало малолетнему сержанту Гриневу находиться в отпуске дома до наступления совершеннолетия).

Все пушкинские цитаты (кроме, как уже сказано, текста «Капитанской дочки» и специально оговоренных), а также цитаты из писем к Пушкину даются по Большому академическому собранию сочинений Пушкина. В 16 т. (21 кн.). М.: Л.: 1937—1959). Данная цитата — из письма Вяземского (Т. 16. С. 183). В дальнейшем ссылки на это собрание — в тексте с указанием тома и страницы. Мои подчеркивания в цитатах даны разрядкой, курсив там авторский.

Но наиболее, казалось бы, основательное замечание Вяземского насчет реки, которая течет меж покрытых снегом берегов, Пушкин проигнорировал. Оставил нетронутым начало главы III «Крепость»: «Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом». А ведь уже в первой главе, отправляя Петрушу из родительского дома в дальнюю дорогу, на него надели «заячий тулуп, а сверху лисью шубу». И в следующей главе, приближаясь к Оренбургу, Гринев отмечает: «Все покрыто снегом». И совершенно напрасно не прислушивается к ямщику, советуяшему возвратиться и переждать надвигающийся буран, потому что попадает в такую снежную круговерт, из которой ни-почем бы не выбрался, не встретить ему мужик, чье звериное чутье услышало то, что не услышали ни Гринев, ни его спутники, — «дымом пахнуло; знать, деревня близко». Ну а уж то, что наутро, после бурана, Петруша увидел, как под сияющим солнцем «снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи», в объяснении не нуждается: странно было бы, если б подобный снежный самум не оставил после себя сугробов!

Почему же в таком случае Пушкин не прислушался к Вяземскому и оставил реку незамерзшей? Наверное, потому, что такая река действительно указывала в романе на время действия, но Вяземский ошибся, решив, что речь идет о событиях, происходящих «чуть ли не посреди зимы».

Ошибка понятная, если учесть, что возникла она от восприятия романа со слуха. Ведь легко не то что пропустить мимо ушей, но не отметить для себя специально, что отцу Гринева пришлось в голову отправить сына на армейскую службу «однажды осенью», когда «матушка варила в гостинной медовое варенье». Ясно, что речь не о поздней осени, к которой обычно любое варенье уже сварено. «Батюшка, — подчеркивает Петруша, — не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен». И мы можем быть уверены, что не любивший откладывать исполнение своих намерений отец Гринева не стал тянуть время с отъездом сына. Как раз незамерзший Яик в снежных берегах показывает, что дело было гораздо раньше наступления зимы: ведь ехал Петруша вдоль реки всего несколько дней спустя после прощания с родителями.

Но текст романа позволяет нам еще более точно определить и когда Гринев выехал из дому, и когда он очутился в Белогорской крепости. Вдоль незамерзшего Яика из Оренбурга в крепость он, как сам вспоминает, ехал сорок верст. Уже под вечер («начало смеркаться») Петруша был в крепости — в «деревушке,

окруженной бревенчатым забором», где ему сразу бросились в глаза «три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом». Понятно, что, если бы настало время основательно выпасть снегу, эти копны были бы полностью им укрыты. Но для настоящего снега было еще рановато. О чем в романе свидетельствует сам Гринев, следующим образом растолковавший иносказательный разговор мужика, который вывел его из буранной мглы на постоянный двор, с хозяином этого двора, яицким казаком: «Я ничего тогда не мог понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года». «Только что!» — начавшееся в январе восстание в Яицком городке подавлено было в июле — недавно: «несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость», — уточняет в другом месте романа Петруша.

Иными словами, вряд ли отец Гринева дал сыну для сборов больше месяца. Скорее всего, Гринев выехал из дому в начале октября вовсе не в причудливом для этих мест в такое время года одеянии: в заячьей тулупе и лисьей шубе. Ведь он ехал по бесконечной степи, продуваемой всеми ветрами, от которых кибитка была не слишком надежной зашитой.

Пушкин знал это по собственному опыту. В сентябре 1833 года он побывал и в Симбирске, и в Оренбурге, и в нескольких крепостях, которыми сумел овладеть Пугачев со своим войском во время знаменитого восстания, и в Уральске (бывшем Яицком городке). С дороги он пишет жене, нередко жалуясь ей на холодную погоду. Особенно интересно письмо, написанное уже из Болдина 2 октября 1833 года, куда поэт прибыл непосредственно из Уральска: «При выезде моем (23 сентября) вечером пошел дождь, первый по моем выезде. Надобно тебе знать, что нынешний <год> была всеобщая засуха и что Бог угодил на одного меня, уготова мне везде прекраснейшую дорогу. На возвратной же путь послал Он мне этот дождь и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 на санях» (Т. 15. С. 83).

Так что если Пушкин в последней декаде сентября ехал по снежному тракту, то почему бы то же самое не мог сделать его герой, которого поэт заставил пуститься в путь в то же или в чуть более позднее время года?

Кстати, не о том же ли времени года свидетельствует Петруша еще и тем, что не слушает ямщика, вполне разумно предложившего ему возвратиться с дороги ввиду надвигающегося бурана? Никогда прежде не выезжавший из дома Гринев, как сам пишет, «слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы

бывали ими занесены». Но, скорее всего, был убежден, что в это время года такие метели очень мало вероятны.

Что ж. Наверное, в этом своем убеждении он был недалек от истины. Другое дело, что он не поверил опытному ямщику, указавшему на верную примету бурана, не поверил народной примете. Так он и наказан за это — и сменой вожатого, которым был для Петруши надежный ямщик, а стал весьма сомнительный черный мужик, и тем, что если страшная слепящая круговерть снежной метели в такое время года — природная аномалия, то именно ему, Гриневу, выпало быть накрытым чуть не сгубившим его ненормальным явлением природы.

С другой стороны, ямщик, несмотря на свой огромный опыт, бессилен что-либо предпринять во время бурана, а черный мужик словно бураном рожден: он в своей стихии, и потому несчастливые поначалу для Петруши обстоятельства завершатся для него весьма благополучно. Причем окажется, что подобные повороты колеса Фортуны будут и в дальнейшем сопровождать дела и поступки Гринева, заставляя многих исследователей, начиная с автора работы, ходившей еще в семидесятых годах прошлого века в самиздате (издана двадцать лет спустя), священника Вячеслава Резникова<sup>4</sup>, говорить о несомненной благосклонности Провидения к пушкинскому герою.

Это, конечно, так и есть. А с литературоведческой точки зрения такие повороты судьбы героя оказываются значимыми, способными прояснить жанр романа «Капитанская дочка».

## Легко ли быть искренним?

Ну разве не странно, что, восхитившись «Капитанской дочкой», Белинский выбрал Гринева — назвал пушкинский роман «чудом совершенства», а у главного героя нашел «ничтожный, бесчувственный характер»<sup>5</sup>. Ведь в совокупности обе эти оценки выходят взаимоисключающими, если видеть, что в «Капитанской дочке» вместе с бытовыми и историческими реалиями минувшего, XVIII столетия оживают и литературные реалии той эпохи: оживает, в частности, и широко бытовавший в то время в европейской литературе тип романа, оформленный как записки романного героя, чья нравственная физиономия (т.е. его характер) непременно отражается в его создании — в изображенных им

<sup>4</sup> См.: Резников Вячеслав, священник. Размышления на пути к Вере. М., 1999.

<sup>5</sup> Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 490.

картинах действительности и в запечатленных им душевных движениях персонажей.

Пушкин особо оговорил авторство Гринева, объявив себя всего только издателем его записок, издателем его рукописи, в которой с разрешения гриневских родственников поменял некоторые собственные имена и нашел для каждой главы «приличный», как выразился сам Пушкин, т.е. приличествующий ей, эпиграф.

Заметим: для каждой г л а в ы, но не для романа в целом. Его эпиграф извлечен непосредственно из романного текста, чего Пушкин себе как автору никогда не позволял, — верный признак, что эпиграф выбран самим Гриневым. Он вынес в эпиграф своих записок народную мудрость, которую услышал от отца, когда тот напутствовал сына на армейскую службу. «Помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду», — сказал Петруше Андрей Петрович.

Много лет спустя Петр Андреич Гринев воспроизвел в первой главе своих записок это отцово напутствие. Но для эпиграфа взял только ту часть, которая относится к чести, — поставил, стало быть, состояние души каждого персонажа в зависимость от того, как каждый распорядится своею честью. В их числе, разумеется, и шестнадцати—восемнадцатилетний Петруша Гринев — главный персонаж повествования Петра Андреича, т.е. того же Петруши, но постаревшего по меньшей мере лет на тридцать: «ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра» — вот из какого далека описывает он два своих армейских года, пришедшихся на пугачевщину.

Понятно, что возрастная эта разница больше продекларирована, нежели реально воплощена в романе: юный Петруша воссоздан по воспоминаниям. А это значит, что тогдашние его оценки людей и событий неизбежно скорректированы его же последующим долгим житейским опытом, который как бы пропитывает собою воскрешаемые ныне события, оставляя на них мету позднейших душевных авторских обретений.

Ведь очевидно, что не тогдашний, а последующий жизненный опыт Гринева отражен в переданном им собственном состоянии, когда к нему в трактирный номер явился посланник от Зурина, напоминавшего о вчерашнем проигрыше: «Я взял на себя вид равнодушный и, обратясь к Савельичу, который был *и денег, и белья, и дел моих рачитель*, приказал отдать мальчику сто рублей». Хотя, строго говоря, в том, что Петруша осенью 1772 года характеризует своего Савельича строчкой из стихотворения Фонвизина «Послание к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке», анахронизма нет. Фонвизинское стихотворение впервые

было напечатано в 1770 году в июньской книжке журнала «Пустомеля». Но чрезвычайно сомнительно, чтобы этот журнал оказался в симбирской деревне у мальчика Петруши. А если он все же там у него оказался, то чрезвычайно сомнительно, чтобы Петруше захотелось вытвердить наизусть помещенные там стихи. И заставил сомневаться в этом не кто иной, как сам Петр Андреич Гринев, который, обронив: «В то время воспитывались мы не понынешнему», — дал такую картину собственного воспитания, в какую никак не вписывается журнал с фонвизинским стихотворением, хотя дух Фонвизина ощутимо витает над ней, воскрешая в памяти картину воспитания фонвизинского Митрофана, с которой она откровенно срисована. Что в этом нет никакой случайности, — показывает сам Гринев, открыто, как верно указали на это в своем комментарии к пушкинскому роману М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина, цитирующий «Недоросля»<sup>6</sup>. (Что Гринев цитирует фонвизинскую комедию, — констатирует и СБ. Рассадин<sup>7</sup>. Но истины ради следует сказать, что справедливая эта констатация повлекла исследователя к удивительно несправедливому выводу. Отталкиваясь от В.О. Ключевского, который говорил об общем у Гринева с Митрофаном историческом типе недоросля, СБ. Рассадин уже ведет речь о них как о л и т е р а т у р н ы х двойниках. И даже записывает им в кровную родню самого Фонвизина: все они, дескать, были в молодости на одно лицо. Нечего говорить о том, насколько приблизительны такие аналогии и насколько оскорбительны для тех, кого сравнивают с лоботрясом Митрофаном!) Так что вроде не может быть полной ясности относительно, скажем, обязанностей бывшего парикмахера мосье Бодре в гриневском имении и вообще его роли в гриневских записках. То ли он и в самом деле брался учить Петрушу «*по-французски, по-немецки и всем наукам*». То ли автор, переписав эту формулировку из «Недоросля» и подчеркнув ее как чужую цитату, сделал своего Бодре легко узнаваемой современниками реминисценцией из прославленной комедии того времени, уподобил его фонвизинскому Вральману, тому самому, который тоже брался не за свое дело — учить Митрофанушку «*по-французски и всем наукам*».

А с другой стороны, вспоминая свое детство Гринев чуть ли не тотчас же забывает, что выставлял своего наставника-француза отпетым бездельником, который, манкируя своими обязан-

6 См.: Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1977. С. 73.

7 См.: Рассадин Ст. Фонвизин. М, 1980. С. 17.

ностями, «предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом». Словно позабыв об этом, Гринев рассказывает о своем знакомстве со Швабриным, сразу же заговорившим с ним по-французски, о французских книгах, которые брал читать у того же Швабрина и благодаря которым «во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах...» И если бы его знакомство со Швабриным состоялось спустя хоть какое-то правдоподобно продолжительное время после его отъезда из родительского дома, где Гринев, если ему верить, не языками занимался, а лоботрясничал на манер фонвизинского Митрофанушки: «жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчиками». Так нет же! — с того дня, когда он впервые покинул родительское имение, чтобы очутиться в Белогорской крепости, и до того, когда, повинувшись проснувшейся в нем охоте к литературе, засел за переводы с французского, не прошло и нескольких месяцев!

Что это? «Трудно разрешимый на уровне здравого смысла и логики художественный феномен», как полагает исследователь «Капитанской дочки» Н.К. Гей, вспомнивший по аналогии «богатырское взросление Гвидона» — «не по дням, а по часам»?<sup>8</sup> Или самовластно установленный писателем, который решил не считаться с читателями, жанровый прием, когда, как пишет И.Л. Альми, «источки изменения героя вынесены за пределы романной действительности»?<sup>9</sup> Или доказательство такой всепоглощающей, гипнотизирующей самого Пушкина его зачарованное™ Пугачевым, которая, по мнению Марины Цветаевой, заставила автора пренебречь другими, другим: «Пушкин вообще забыл Гринева, помня только одно: Пугачева и свою к нему любовь»?<sup>10</sup>

Последнее утверждение, конечно, курьезно. Но и первые два, если вдуматься, курьезны не менее, ибо исходят из убежденности в несомненной прихотливости повествовательной логики «Капитанской дочки», из того, по-другому говоря, что Пушкин действительно «забыл» Гринева — не озаботился поиском психологических мотивировок тем или иным его поступкам.

Удивительно суждение по этому поводу такого серьезного литературоведа, как СБ. Рассадин: «Юпитер на то и Юпитер, чтобы позволить себе то, что не позволено самому безупречному из

8 Гей Н.К. Проза Пушкина: Поэтика повествования. М., 1989. С. 211.

9 Альми И.Л. О некоторых особенностях литературного характера в пушкинском повествовании // Болдинские чтения. Горький. 1986. С. 5.

10 Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 88.

быков. То есть большой писатель может пойти на такой риск, на который иной и решиться не посмеет, и в большой литературе нередко случается так, что сама внешняя нелогичность оказывается не только возможна, но даже необходима — для достижения высшей, внутренней логики. Высшей внутренней правды». И потому Пушкин «мог быть свободен от правил правдоподобия — ради законов правды»<sup>11</sup>.

Но литература существует по своим совершенно определенным законам, нарушать которые не позволит даже гению. Да и не станет великий (Юпитер) их нарушать — в первую очередь именно он не станет, потому что раньше других постиг, к каким необратимым последствиям привело бы такое нарушение — вплоть до уничтожения самого этого рода искусства — литературы.

А о том, что Пушкин не освобождался, не освобождал себя «от правил правдоподобия», говорит уже один только Петрушин французский, который обнаруживает некое л у к а с т в о Гринева в описании своего детства и своих отношений с наставником-французом. Впрочем, вот еще одно тому свидетельство: «Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника».

(Да и «несколько уроков» — тоже лукавство, разоблачаемое простодушным Савельичем. Он свидетельствует о серьезной школе: «Проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкать железными вертелами да притоптывать...»!)

Да, скорее всего, мосье Бопре был выпивохой и бабником, за что его и прогнали из Гриневского дома, но бездельником почти наверняка не был: учил, как и было с ним договорено, своего воспитанника не только по-французски.

Так что его воспитанник попросту дурачит читателя, гримируя наставника под Вральмана, а себя под Митрофанушку. Причем, перекликаясь с фонвизинской комедией, цитируя ее, выражает, разумеется, не тогдашний свой опыт — уж это точно было бы анахронизмом: «Недоросль» появился в печати и на сцене чуть ли не десятилетие спустя после описанных Гриневым событий.

Ясно, что в этом случае подражание Фонвизину не может быть простой авторской шалостью, что оно осознано Гриневым и преследует в повествовании определенную цель.

Нет, речь не о некоей намеренной расчетливости рассказчика, а о том, что подсказано ему художнической интуицией, свиде-

11 Рассадин С.Б. Круг зрения: Беседы об искусстве. М., 1982. С. 37, 38.



тельствующей о его душевном такте. Ведь он взялся за повествование о необыкновенной, как мы уже отмечали, своей удачливости, о чудесном жребии — подарке судьбы. А такой подарок — не столько награда человеку, сколько серьезное ему испытание, очень серьезное искушение занестись над другими, возбуждая в других зависть, ревность и подобные им чувства. О том, что Гринев понимает это и даже это подчеркивает, и говорит его комическое снижение собственного образа — уподобление себя всем известному оболтусу — самоирония, которая всегда показатель душевной силы человека, его умения критически смотреть на себя со стороны, объективно оценивать собственные действия.

Конечно, следует учитывать, что эта нравственная черта требует обязательной проверки на качественность, удостоверяющей, что мы действительно имеем дело с самоиронией, а не с маскирующимся под нее душевным кокетством. Но как бы искусно ни притворялся в своем самоумалении тот, кто напрашивается на комплименты, он не способен на чувствительные удары по собственному самолюбию. Кокетка не станет, да и не сможет, как это делает Гринев, выставлять себя в самом неприглядном свете, прилюдно вспоминая о себе подробности, какие не всякий захочет вспомнить и наедине с самим собой: «Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня... Жизнь моя сделалась мне несносна... Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее... Дух мой упал».

Скажут: а почему бы ему об этом и не вспомнить, если он знает, что все это счастливо кончилось? Но он вспоминает совсем не о том, что окончилось счастливо. Он ведет речь о слабости или даже о бессилии своей души, которую загнал в тупик своим упавшим духом. Он бередит старую рану, вспоминая, как парализовало его волю первое же испытание, выпавшее его чувству, как он запаниковал, как впал в уныние...

Конечно, очень соблазнительно связать этот поступок Гринева с авторским признанием в пушкинском стихотворении 1828 года:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Трепещу и проклиная, И горько  
жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк  
печальных не смываю.

И мы не избежим соблазна, но заметим при этом, что одинаковые по сути душевные движения выражены там и тут в совершенно разных литературных жанрах. Причем если лирической поэзии подобная исповедальность предопределена, так сказать, самой ее жанровой природой, то с героя романа спрос совсем

другой. Тем более с героя романа, оформленного как его записки, как мемуары.

Было время, когда и сам Пушкин с большим недоверием относился к мемуарам. «Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя, — объяснял он в ноябре 1825 года Вяземскому смысл своей недоверчивости, своего неверия в непритворное самораскрытие мемуариста. — Не лгать — можно, быть искренним — невозможно физическая... презирать суд собственный невозможно» (Т. 13. С. 244).

Но его Гринев показывает, что Пушкин изменил свое мнение. Замечательно, что изменить его заставила Пушкина собственная практика: воскрешая привычный для литературы XVIII столетия тип романа, он должен был воссоздать и традиционный для этого романного типа образ героя — обычно добродетельного или блуждающего в поисках добродетели. В этом смысле он не отошел от традиции: его Гринев, можно сказать, персонифицированная добродетель. Но Пушкин отошел от традиции, предоставив Гриневу возможность не резонерствовать по подобию прежних положительных героев, а жить полнокровной жизнью, которую тот запечатлевает в своих записках во всей ее целокупности, не отстраняясь от собственного суда, как это делали прежние литературные герои, не помышлявшие о беспощадном отношении к себе, но им, этим судом, руководствуясь, с ним сообразуясь, к нему прислушиваясь.

В том и состоит художественное открытие Пушкина, что он поставил искренность своего героя под жесткий контроль его же собственного — самокритического и самоиронического — суда, показав, что самокритика и самоирония, дополняя и взаимообуславливая друг друга, обеспечивают человеку, который берется за описание собственных жизненных злоключений, физическую возможность быть искренним. Ибо не дают развиваться в нем опаснейшему недугу — той любви, какой «никого так не любишь... как самого себя».

## Роман или повесть?

Сам Пушкин, направив сперва первую часть «Капитанской дочки» (конец сентября 1836 года), а потом и весь ее текст (октябрь 1836-го) цензору П.А. Корсакову, неизменно называет свое произведение романом. Но первый же отклик на только что напечатанную в «Современнике» «Капитанскую дочку», принадлежащий В.Ф. Одоевскому, зафиксировал, что приятель Пушкина воспринимает это произведение как повесть (Т. 16. С. 195—196).

Так и пошло. Белинский всякий раз называет «Капитанскую дочку» повестью, а первый пушкинский биограф П.В. Анненков — романом. Для Чернышевского пушкинское произведение — повесть, для А.М. Скабичевского — роман. Автор первого капитального труда о «Капитанской дочке» Н.И. Черняев уверенно называет ее романом, а современник Черняева, известный литературовед Ю.И. Айхенвальд, — повестью. М. Горький убежден, что Пушкин написал исторический роман, а В.Б. Шкловский — что повесть. Те же жанровые разночтения мы встретим и в трудах советских литературоведов. Так что совсем неудивительным окажется тот факт, что в двух изданиях «Капитанской дочки», вышедших в серии «Литературные памятники», пушкинское произведение названо романом, а комментарий М.И. Гиллельсона и И.Б. Мушиной, который мы уже здесь цитировали, называется «Повесть А.С. Пушкина "Капитанская дочка"».

Кто же прав? Читаем в специальном исследовании:

«Среднюю эпическую форму чаще всего называют *повестью*. В древней литературе термин "повесть" имел более широкий смысл, обозначая вообще повествование, например: "Повесть временных лет". Повестью называют также "хронику" — произведение, представляющее собой изложение событий в хронологическом порядке: "Повесть о днях моей жизни" Вольнова. В начале XIX века термин "повесть" соответствовал тому, что теперь называют рассказом. Повесть (как средняя эпическая форма) отличается от рассказа тем, что дает ряд *эпизодов*, объединенных вокруг основного персонажа, составляющих уже *период* его жизни. Это уже иной тип жизненного процесса. В связи с этим повесть больше по объему, в нее входит более широкий круг персонажей; завязку, развязку, вершинный пункт (кульминацию) образуют уже более развитые события; персонажи, взаимодействующие с основным, более широко обрисованы. Примером повести может служить "Капитанская дочка" Пушкина, композиционно образующая ряд эпизодов из жизни Гринёва, составляющих определенный период его жизни»<sup>12</sup>.

Убедительно? Но вот в том же пособии доходим до «большой эпической формы», которая «дает и ряд периодов, и ряд многосторонне показанных персонажей, что позволяет ей отразить наиболее сложные формы жизненных противоречий не в отдельном их проявлении в одном событии или в связи с одним характером, а в сложных взаимоотношениях людей». Доходим до жанрового

<sup>12</sup> Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. 2-е изд., испр. и дополи. М., 1963. С. 333.

определения: «Большую форму чаще всего называют романом». И вдруг:

«Пушкин писал: "Под словом "роман" разумею историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании", подчеркивая тем самым эту синтетичность большой эпической формы и то, что в ней изображается именно сложный жизненный процесс — эпоха».

Но разве в повествовании «Капитанской дочки» не развита историческая эпоха? Разве само это повествование не вымышлено?

Выходит, что Л.И. Тимофеев сперва уверенно назвал «Капитанскую дочку» повестью, а потом опосредствованно — через пушкинское определение жанра — романом!

Б.В. Томашевский, называя малую форму повествовательного прозаического произведения новеллой, а большую — романом, оговаривался, что граница между ними не может быть твердо установлена: «Так в русской терминологии для повествования среднего размера часто присваивается наименование *повести*»<sup>14</sup>. Но в дальнейшем к повести не возвращается. Заложив новеллу в основу повествовательной прозы как единицу меры, он различает сборник новелл (например, приключения Шерлока Холмса) и новеллы, объединенные в роман.

В последнем случае, по Б.В. Томашевскому, происходит отсечение концовок новелл, спутывание их мотивов, т.е. делается все для того, чтобы превратить новеллу из самостоятельного произведения в сюжетный элемент романа:

«Обычно в новеллах, объединенных в один роман, не довольствуются общностью одного главного героя, а лица эпизодические также переходят из новеллы в новеллу (или, иначе говоря, отождествляются). Обычный прием в романической технике — эпизодические роли в отдельные моменты поручать лицу, уже использованному в романе (сравни роль Зурина в "Капитанской дочке"...)»<sup>15</sup>.

О роли Зурина в «Капитанской дочке» и о том, как ее понимает Б.В. Томашевский, у нас еще будет возможность поговорить подробней. А что до объединения новелл в роман, или, как еще выразился Б.В. Томашевский, к связыванию их там воедино, то, по справедливому замечанию комментатора книги Томашевского

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учеб. пособие / Вступ. ст. Н.Д. Тмарченко; Комент. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тмарченко. М., 1996. С. 243.

<sup>15</sup> Там же. С. 248.

С.Н. Бройтмана, такое формалистическое объяснение<sup>16</sup> жанра романа не принято современной наукой и давно ею отвергнуто. Еще в 20-х годах XX века о несостоятельности подобного объяснения жанровой природы романа писал выдающийся наш ученый М.М. Бахтин, чьи работы о романе и романном слове не утратили своей актуальности и сегодня.

Вспомним пушкинское толкование романа, которое цитировал Л.И. Тимофеев. Дословно оно звучит так: «В наше время под словом *роман* разумею историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (Т. 11. С. 92). И сравним его с тем, что пишет о романе М.М. Бахтин: «Изображение прошлого в романе вовсе не предполагает модернизации этого прошлого <...> Напротив, подлинно объективное изображение прошлого как прошлого возможно только в романе. Современность с ее новым опытом остается в самой форме видения, в глубине, остроте, широте и живости этого видения...»<sup>17</sup>

Иными словами, великий наш теоретик полностью подтвердил величайшего нашего практика: «новый опыт» современного взгляда на прошлое и есть вымысел художника, есть субъективное отношение творца к прошлому (в более широком смысле — ко времени, к эпохе), к известным и оттого неискажаемым историческим фактам.

Стало быть, правильней называть «Капитанскую дочку» романом? Можно и повестью. Но только если учитывать, что повесть — это романное образование<sup>18</sup> пусть и небольшой — «средней», как называют ее исследователи, формы. (Хотя, на мой взгляд, определяя тот или иной жанр, странно подходить к нему с портняжким сантиметром, или со школьной линейкой, или даже с современным инженерным калькулятором!) Важен в конечном счете не размер, а количество сюжетных линий, развитых в повествовании. Если таких линий несколько, мы имеем дело с романом или (не будем ломать привычного, устоявшегося, но,

<sup>16</sup> Хотя в данном случае оно, может быть, не связано с формализмом. Писал же А.Н. Веселовский: «Старая точка зрения... на большие поэмы как на свод народных песен не выдержала критики...» (Веселовский А.Н. Историческая поэтика / Ред., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского. 2-е изд. испр. М., 2004, С. 97). Может быть, точка зрения Б.В. Томашевского на роман исходила из той же логики, что и отвергнутая точка зрения на большие поэмы?

<sup>17</sup> Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 472.

<sup>18</sup> Поэтому не следует удивляться тому, что собственно комментарий пушкинского текста в книге М.И. Гиллельсона и И.Б. Мухиной, названной, как мы уже сказали, «Повесть А.С. Пушкина "Капитанская дочка"», начинается так: «Капитанская дочка, заглавие для своего романа Пушкин выбрал, вероятно, лишь осенью 1836 года» (Указ. соч. С. 61).

по-моему, нелепого представления о связи жанра литературной вещи с ее объемом) с повестью — маленьким романом. Если одна, — перед нами рассказ или новелла (объяснять их различия выходит за рамки нашей авторской задачи).

А сколько сюжетных линий в «Капитанской дочке»? Кажется, впервые Н.Н. Страхов в статье, посвященной даже не пушкинскому произведению, а «Войне и миру» Л. Толстого, стал настаивать на одной только линии, на которую нанизан весь сюжет произведения Пушкина: «"Капитанская дочка" есть рассказ о том, как Петр Гринев женился на дочери капитана Миронова»<sup>19</sup>. Заглавие статьи Г.П. Макогоненко «Исторический роман о народной войне»<sup>20</sup> свидетельствует о другой — и тоже только одной! — сюжетной линии. Наконец, В.Г. Маранцман называет «Капитанскую дочку» «повестью о пугачевском мятеже»<sup>21</sup>.

Конечно, сам этот разнобой в определении сюжетных линий «Капитанской дочки» уже должен был бы сказать, что в ней их несколько. Да беда в том, что если со Страховым еще можно согласиться: ведь Петр Гринев и сам именует свое повествование «семейственными записками», то назвать «Капитанскую дочку» романом о народной войне или повестью о пугачевском мятеже можно с очень большой натяжкой. Народная война вообще никак не отражена в «Капитанской дочке». Да и что это такое — народная война? Ясно, что здесь речь не об Отечественной войне, а о советской идеологии, штампе: дескать, народ воюет против своих поработителей. А в этом случае называть пугачевцев народом слишком расширительно для «Капитанской дочки». В ней ведь действует и такой представитель народа, как Савельич, для кого пугачевцы — злодеи и мошенники! Что же до их мятежа, то он страшно прошелся по судьбам персонажей пушкинского произведения, но его сюжетной линии не составляет.

Разумеется, называя пушкинское произведение романом или повестью, исследователь не может ограничиваться этим, если ведет жанровые наблюдения над «Капитанской дочкой». Ведь обозначение общего, родового для многих книг жанра не отменяет первейшей литературоведческой задачи — найти специфические жанровые приметы, присущие именно и только данному конкретному произведению. Да, «Капитанскую дочку» можно на-

<sup>19</sup> Страхов Н.Н. Литературная критика / Вступ. ст. сост. Н.Н. Скатова, Примеч. Н.Н. Скатова и В.А. Котельникова. М., 1984. С. 292.

<sup>20</sup> См.: Пушкин А.С. Капитанская дочка. 2-е изд., доп. 1-е изд. подготовил Ю.Г. Оксман. С. 200-232.

<sup>21</sup> Маранцман В.Г. Изучение А.С. Пушкина в школе. На пути к А.С. Пушкину: Пособие для учителя и учащихся: В 2 ч. Ч. 1. М., 1999. С. 237.

звать и романом и повестью. Но какой это роман? Какая повесть? Не уяснив себе жанровой специфики пушкинского произведения, мы рискуем многое в нем не понять. Или неверно истолковать.

Поэтому, думаю, что не совсем прав современный пермский философ В.Н. Касатонов, утверждающий, что «Капитанская дочка» «есть повесть о личности в истории, а не исторический роман и романтическая история (отдельно и суммарно)». То есть в данном случае правота исследователя представляется неполной. Это станет особенно очевидным, если продолжить цитату из его работы: «Уже само название повести настраивает нас в лирическом ключе: повесть будет о любви. Но Пушкин решает более сложную задачу: любовь и фундаментальные личностные отношения должны быть показаны на фоне значительных — и известных — исторических событий. Это соединение лирического и эпического жанров выступает как своеобразное высветление смысла истории: исторические события оказываются предопределенными во внутреннем духовном мире людей, в котором последние противостоят друг другу, как выразители целостных мировоззренческих позиций»<sup>22</sup>. Не станем отвлекаться на стилистическую неловкость: «настраивает нас в лирическом ключе» или на странную расшифровку заголовка пушкинского произведения, показывающего якобы, что «повесть будет о любви», но заметим, что в пределах очерченных В.Н. Касатоновым границ жанра поместится не один пушкинский роман, но и романы Достоевского, и даже эпопея Л. Толстого. От специфики жанра именно «Капитанской дочки» исследователь в данном случае ушел.

К сожалению, ушла от специфики жанра пушкинского романа и Е.Ю. Полтавец, хотя, судя по названию ее работы «Размышления о жанре "Капитанской дочки" и о том, кто кому вожатый», вроде к этому и стремилась. Впрочем, ее цель сформулирована ею так: «В наши задачи входило раскрыть жанровый код "Капитанской дочки" именно не как типичного, а как нетипичного исторического романа, а с другой стороны — подчеркнуть архетипическое в нем...»<sup>23</sup>. Но жанровый код у Е.Ю. Полтавец связан не с жанром романа, а, как недвусмысленно следует из ее работы, с источниками пушкинской вещи: библейскими, мифологическими, сказочными.

<sup>22</sup> Касатонов В.Н. Хожение по водам: (Религиозно-нравственный смысл «Капитанской дочки» А.С. Пушкина) // *Пушкин А.С. «Капитанская дочка»*. Калуга, 1999. С. 145.

<sup>23</sup> Полтавец Е.Ю. Размышления о жанре «Капитанской дочки» и о том, кто кому вожатый // *Литература в школе*. 2005. № 7. С. 21.

Ну а раз произошла подмена, путаница понятий, то не следует удивляться призыву Е.Ю. Полтавец «рассмотреть "Капитанскую дочку" не на фоне истории и исторического романа, а на фоне пушкинской историософии и религиозных исканий, в том числе и религиозных исканий новых жанров светской литературы, предпринятых Пушкиным незадолго до кончины»<sup>24</sup>. Как это обычно и бывает, путаница повлекла за собой новую путаницу. Для чего, к примеру, противопоставлять пушкинскую историософию, о которой мы еще поговорим в нашей книге, историческому роману? Ведь историософия Пушкина, как и историософия любого художника, не может не быть запечатленной в историческом романе, не может не придать ему особого, специфического именно для этого художника колорита. А что такое религиозные искания новых жанров светской литературы? Если речь идет о литературе, написанной с христианских или иных религиозных позиций, то что же в этом нового? И какой новый жанр светской литературы смогут сформировать религиозные искания самого что ни на есть богобоязненного автора?

Не мною первым было замечено, что, рассказывая об ужасающих кровавых событиях, Гринев не упомянул ни об одной своей жертве, хотя описывал и перестрелки с пугачевцами, на которые выезжал из Оренбурга, и военные действия отряда Зурина, где его застало известие о поимке Пугачева.

Впрочем, будем точны — не описывал. Гринев всего только и н ф о р м и р о в а л читателя. Неизменно, чуть ли не одними и теми же словами подчеркивая, что не видит в описании подобных вещей своей творческой задачи (не считая, говоря по-другому, что пишет о народной войне или о пугачевском мятеже). Вот об осажденном Пугачевым Оренбурге: «Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце...» А вот — о походе в составе отряда Зурина: «Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко...» Учитывая небольшую пространственную площадь «Капитанской дочки», случайным такое совпадение не назовешь. Оно говорит об осознании мемуаристом жанра своего повествования, о четко установленных Гриневым жанровых границах собственных записок. Поэтому он вспоминает некоего казака, оставшего в бою от своих товарищей и едва им, Гриневым, не зарубленного, не ради той подробности, что собирался убить врага, а ради той, что казак отстал нарочно, ибо и сам разыскивал Петрушу, чтобы передать ему письмо Марьи Ивановны.

Частный человек, Гринев не чувствует в себе таланта историка или военного стратега, потому и не берется с ними соперничать. Как у любого мемуариста, его взгляд на ту или иную

<sup>24</sup> Там же. С. 17.

историческую фигуру неизбежно субъективен. Поэтому думается, что не правы исследователи (и прежде всего Марина Цветаева), принимающие оценку того или иного персонажа из повествования Гринева за пушкинскую. Думается даже, что Пушкин и выступил-то в роли издателя для того, чтобы отдалиться от Гринева. Как и положено, издатель ознакомился с романом раньше нас и захотел максимально облегчить его восприятие читателю — усилить нравственную суть повествования, подобрав к каждой главе эпиграф.

Если и есть в этом что-то новое, необычное, то оно связано со спецификой жанра, который избрал Пушкин.

При этом общероманные правила в «Капитанской дочке» остаются неизблемыми, т.е. речь автора и персонажей принадлежит, как писал М.М. Бахтин в статье «Из предистории романного слова», «к разным системам языка»<sup>25</sup>. В другой работе («Слово в романе») Бахтин подчеркивал, что «автор осуществляет себя и свою точку зрения не только на рассказчика, на его речь и его язык <...>, но и на предмет рассказа». И эта точка зрения отличается от восприятия рассказчика. Читатель, замечает М.М. Бахтин, имеет возможность не только следить за действием в романе, но и воспринимать его в скрещении двух взглядов — автора и рассказчика, постигая таким образом два слоя повествования<sup>26</sup>. Эти два слоя повествования и предстоит нам постигнуть, читая «Капитанскую дочку». Причем второй слой романа в данном случае выражен в эпиграфах, которые подобрал Пушкин, объявивший себя издателем Гринева, к его «семейственным запискам». И не только в эпиграфах.

### «Да кто его отец?»

Глава 1, названная Петром Андреичем «Сержант гвардии», предварена следующей цитатой:

«— Был бы гвардии он завтра ж капитан.  
— Того не надобно; пусть в армии послужит.  
— Изрядно сказано! Пускай его потужит...

Да кто его отец?

*Княжнин»*

*Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет.*

С. 415.

<sup>26</sup> Там же. С. 127.

Отдаленные от пушкинского времени, мы можем не знать о той популярности, какой тогда все еще пользовалась комедия Якова Борисовича Княжнина «Хвастун», созданная в 1786 году, из которой, слегка переиначивая текст, берет Пушкин эту цитату. Тот, кто не знаком с княжнинской комедией, вряд ли догадается, что выписанный Пушкиным диалог ведут люди не только не испытывающие друг к другу приязни, но нравственно противостоящие друг другу: враль беседует с порядочным человеком. А знакомые с текстом Княжнина (допустим, первые читатели «Капитанской дочки») не имели, разумеется, оснований упрекать Пушкина за подобную редактуру. Ведь подлинный текст «Хвастуна» и сейчас живет своей жизнью, а финевская глава «Сержант гвардии» потому так названная, что речь в ней идет о том, как сложилась воинская судьба Петруши, с рождения записанного сержантом в знаменитый столичный гвардейский Семеновский полк, — так вот эта глава получила одновременно и нравственный и фактический путеводитель по себе. Столичным гвардейцем Петруша Гринев и в самом деле не станет и действительно «потужит» — потянет очень нелегкую армейскую лямку, причем потянет, как и было возведено эпиграфом, из-за отца. Не потому, что у отца неостанется связей удержать сына гвардейцем в Семеновском полку, а потому, что старый служака Андрей Петрович Гринев хорошо знает цену «веселой петербургской жизни», о которой возмечтал было его сын, и сознательно направляет его в армейский гарнизон «в стороне глухой и отдаленной».

Разумеется, напрашивается естественный вопрос: если Андрей Петрович не хотел, чтобы его сын служил в гвардии, то почему допустил, чтобы Петрушу с рождения «по милости майора гвардии князя Б.» («близкого нашего родственника», — разъясняет Петруша) записали в Семеновский полк? Потому, во-первых, что по существующим тогда порядкам дворяне обязаны были записывать детей солдатами в гвардию. С этого начиналась армейская служба. А во-вторых, «милость» князя-родственника дорогого стоила: Семеновский полк был весьма престижен, туда стремились пристроить своих детей именитые дворяне. Андрею Петровичу не было резона отказываться от подобной «милости». Так что если и задумывался отец Гринева над армейской (а не гвардейской) службой своего сына, то, естественно, желая отпрыску только хорошего. Да, столичный гвардеец, по мнению Андрея Петровича, «шаматон», т.е., по разъяснению академического четырехтомного словаря русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой, «пустой человек, шалопай»! (Устаревшее это слово произведено от французского «chômeur» — «бездельничать, быть праздным». Мне не представляется убедительной фактиче-

ская солидарность авторов Комментария «Капитанской дочки» М.И. Гиллельсона и И.Б. Мушиной с В.П. Воробьевым, который в статье, опубликованной в «Ученых записках Саратовского педагогического института» (1958. Вып. XXXIV. С. 224), связывал «шаматона» с устаревшим немецким «Schamade», означавшим сигнал трубы или барабана противнику о сдаче ему крепости, и с устаревшим французским «chamade» — «сдача (в плен)»<sup>27</sup>. Не мог Андрей Петрович считать каждого гвардейца готовым к сдаче в плен перебежчиком! Это было бы с его стороны ничем не оправданной клеветой на гвардию!) Ну так не будет Петруша шаматоном — пойдет служить в армию. Удивительно было прочитать по этому поводу в книге М.И. Гиллельсона и И.Б. Мушиной: «Остается предположить, что повествователь сознательно "опускает" неизбежные трудности, которые не могли не сопутствовать самой процедуре перевода юноши, еще во младенчестве записанного в Семеновский полк сержантом, в распоряжение оренбургского военного губернатора»<sup>28</sup>. Почему же «опускает»? Мы уже писали о том, как с помощью П.Я. Вяземского Пушкин преодолел эти трудности: Андрей Петрович просит оренбургского военного губернатора, старого боевого товарища, не просто принять Петрушу под свое начало, но и снестись с Семеновским полком, чтобы уладить все необходимые формальности, и генерал соглашается это сделать! Судя по всему, он не менее серьезно, чем отец Петруши, относится к военной службе: «Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в \*\*\* полк, и чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку».

Кстати, не только отец Гринева или военный губернатор Оренбурга считают армейскую службу хоть и потяжелей, но добротней гвардейской, которая притягивает к себе молодых шалопаев и от которой по своей воле они не откажутся. Того же мнения придерживается и поручик Иван Игнатьич, которое он и высказывает в лицо Петруше, едва тот прибывает в Белогорскую крепость: «"А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?" Я отвечал, что такова была воля начальства. "Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру

27 Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. соч. С. 77—78. 28

28 Там же. С. 66—67.

поступки", — продолжал неумолимый вопрошатель». (Давно устаревшее «чаятельно» — это нынешнее «думается».)

Как некогда отмечал Д.Д. Благой, такое противоположение армейцев и гвардейцев встречается у Пушкина не впервые. Например, в «Евгении Онегине», где действует «Ларин — екатерининский военный, очевидно, армеец (он отчетливо противопоставлен тому, другому, по которому вздыхала в молодости его жена, — "славному франту, игроку и *гвардии сержанту*")», проводивший свою службу не в столице за картами, а в боевых походах (Ленский в детстве играет его "очаковской медалью")». Вот и старик Гринев, продолжает Д.Д. Благой, заставляет своего записанного в гвардию сына послужить в армии<sup>29</sup>. (Понятно, что Андрей Петрович много старше, о чем говорит, в частности, «очаковская медаль» Ларина, т.е. золотой офицерский крест, учрежденный Екатериной за взятие в декабре 1788 года армией под командованием Г.А. Потемкина турецкой крепости Очаков. Ясно также, что медалью, которой играл Ленский, Пушкин называет именно бляху необъявленного орденом креста, а не серебряную медаль за взятие Очакова, учрежденную Екатериной для солдат. Такую медаль не мог получить тот, кто через небольшой промежуток времени вышел в отставку в высоком генеральском чине бригадира.)

Но проясненный вроде с самого начала вопрос, вынесенный издателем в эпиграф к главе I гриневских записок: «Да кто его отец?» — встанет с новой силой в конце их, когда обнаружится, что императрица избавит оговоренного Швабриным Петрушу от позорной казни только «из уважения к заслугам и преклонным летам отца». Снова Андрей Петрович обнаружит свой характер, когда нисколько не ободренный оказанным ему уважением будет близок к тому, чтобы проклясть сына: «Не казнь страшна <...> Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» И проявив подобным образом характер, не подтвердит социологических выкладок многих пушкинистов, толковавших о некой оппозиционности Гринева-старшего императрице.

Откуда вообще взялись эти нелепые толки? По-моему, от невнимательного чтения. Ведь за началом повествования Петруши: «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году» — следует фраза: «С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился...», которая показывает, что граф Миних

29 См.: Благой Д.Д. Социология творчества Пушкина. М., 1931. С. 137.

упомянут Петрушей только потому, что его отец служил под началом этого генерал-фельдмаршала, когда тот командовал русской армией. Выводить из этого очевидного факта наличие некой духовной общности или некоего духовного сообщничества пусть и не самого младшего штаб-офицера (разделение майоров на премьер-майоров и секунд-майоров было отменено при Павле) с верховным начальником вовсе не обязательно! А возможно, что и младшего: ведь, уходя в отставку, офицер получал на чин, а то и на два выше. Премьер-майор командовал батальоном. Но, может быть, неслучайно пожимает плечами Гринев-старший, найдя в Придворном календаре фамилию некоего генерал-поручика, который «у меня в роте был сержантом»! Необязательно также и увязывать отставку старшего Гринева с тем, что занявшая российский престол Елизавета Петровна в 1743 году отправила Миниха в ссылку, откуда его вернул Петр III, которому он остался верен во время дворцового переворота, устроенного женой императора. Для этого не дают основание ни сам Петруша Гринев<sup>30</sup>, ни его издатель, оговоривший, что в работе над доставленной ему рукописью он позволил себе не так уж много — придумать, как мы помним, для каждой главы эпиграф и «переменить некоторые собственные имена». В связи с чем мы с очень большой долей уверенности можем утверждать, например, что в рукописи Гринева оренбургский губернатор был назван своим подлинным именем — Иван Андреевич Рейнсдорп и что переименовал это имя на

Позволю себе не согласиться с мнением уважаемого мною Б.М. Сарнова по поводу Петрушиного описания отца: «Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: "Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом... Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы?.."» «Воркотня эта весьма многозначительна, — комментирует этот эпизод Сарнов. — Она означает, что все бывшие сослуживцы Петрушиного отца и даже его подчиненные сделали блестящую карьеру, потому что стали верой и правдой служить взойшедшей на престол Екатерине. А Андрей Петрович, как видно, сохранил верность прежнему государю, за что и поплатился» (*Сарнов Б. Занимательное литературоведение, или Новые происхождения знакомых героев: Книга для школьников и учителей. М., 2003. С. 236—237*). О «верности прежнему государю», т.е. Петру III, мы еще поговорим в самом тексте. Здесь же, в сноске, заметим, что Андрей Петрович как всякий отставной военный мог скептически оценивать быстрое продвижение по службе одних знакомых, удивляться возвышению других и вполне искренне верить, что третьи отмечены заслуженно. Именно поэтому, как пишет Гринев об отце, чтение Придворного календаря «производило в нем всегда удивительное волнение желчи». А будь Андрей Петрович по-настоящему оппозиционен режиму, для чего он стал бы пожимать плечами по поводу продвижения тех, кто исправно этому режиму служит? Что удивляло бы в этом старшего Гринева? Нет, скорее всего он оценивает здесь и персоналии знакомых, и обычные для России бюрократические действия ее чиновников наградных отделов.

Андрея Карловича Р. именно издатель! И потому, скорее всего, что изображенный Гриневым, а не Пушкиным, как пишут М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина, «генерал Р. старше Рейнсдорпа». Исследователи, по-моему, излишне категоричны, утверждая, что генерал Р. «вспоминает в разговоре об участии в прусском походе Миниха (1733), в то время как Рейнсдорп вступил в русскую армию в 1746 году»<sup>31</sup>. Все-таки прямого разговора в романе о своем участии в прусском походе Миниха оренбургский губернатор не ведет. Должно быть, они имеют в виду отрывочные фразы из письма отца Петруши генералу, который тот проборматывает: «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку». «Каролинка» вызывает генеральское оживление: «Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ?» Немецкое имя Каролина могло, конечно, принадлежать пруссачке. И все же в каком контексте упомянут Андреем Петровичем «покойный фельдмаршал Мин...» и о каком «походе» под руководством этого фельдмаршала он пишет губернатору, — мы наверняка сказать не сможем.

Другое дело, как описывает генерала Петруша: «Я увидел мужчину роста высокого, но уж сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны...» А ведь Иван Андреевич Рейнсдорп родился в 1730 году. И если принять, что он — реальный прототип Андрея Карловича Р., то, стало быть, подобным образом нам охарактеризовали сорокадвухлетнего мужчину!

Конечно, можно было бы не удивляться этому, учитывая, что его рассматривает шестнадцатилетний юноша, чьи ощущения передает постаревший Гринев. А для юноши человек почти втрое его старше уже очень немолод. К тому же в Семилетней войне, которую Елизавета Петровна вела против прусской армии Фридриха II, будущий оренбургский губернатор был трижды тяжело ранен. Вполне можно было бы решить, что именно потому он и запомнился Петруше сгорбленным и седым. И старый полинялый мундир, в котором генерал напоминал Гриневу «воина времен Анны Иоанновны», тоже мог стать указанием на то, какую замшелую древность может навевать на юношу пожилой человек.

А то обстоятельство, что И.А. Рейнсдорп вступил в русскую армию в 1746 году (юнкером), засвидетельствовало бы в этом случае, что отец Петруши вышел в отставку, успев еще некоторое время послужить рядом с будущим оренбургским губернатором: в 1747 году Рейнсдорп стал поручиком, а в 1749-м — капитаном. Можно было бы решить, что Андрей Петрович опекал его, по-

<sup>31</sup> Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. соч. С. 97.

могал ему освоиться в воинском деле, потому тот и бормочет, встретив в письме отца Петруши обращение к себе: «ваше превосходительство» — «это что за серемонии? Фу! как ему не софисто!»

Но нет! Все эти логические построения рушит сам генерал, разглядывая Петрушу. «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был твоих лет; а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фрема, фрема!» Конечно, подлинный Рейнсдорп никак не мог видеть Андрея Петровича в возрасте Петруши. А это значит, что в своих «семейственных записках» Гринев допускает авторские вольности, которые издатель отмечает и помечает заменой реального имени исторического персонажа вымышленным.

Иными словами, издатель не произвольно менял имена в рукописи Гринева, а руководствовался совершенно определенным принципом. Представляя Петрушину рукопись как мемуары, Пушкин в то же время не забывает о том, что его герой не летописец, чья задача — ни в коем случае не отклоняться от достоверности. Помнит Пушкин и о специфике жанра «Капитанской дочки», которая не просто «семейственные записки» Гринева, но еще и роман, для которого авторский вымысел — всегда существенный жанрообразующий признак.

Очень может быть, что, уловив желание Петруши сблизить по возрасту старых армейских товарищей, издателю захотелось придать им еще большей близости, и потому он назвал генерала тем же греческим по происхождению именем, которое носит отец Петруши, — Андрей, означающим в переводе «мужественный».

Заставив генерала поначалу говорить сильно исковерканным на немецкий лад русским языком, а затем уже в дальнейшем в основном не перевирать слова, Пушкин вовсе не проявляет тем самым непоследовательности, как думают М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина<sup>32</sup>. Во-первых, и в главе X генерал, узнав о гибели супругов Мироновых, отзовется, в частности: «И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить!» А во-вторых, на мой взгляд, не укорять в данном случае стоит Пушкина, а отметить его несомненное новаторство: ведь у его предшественников коверкающие язык иноземцы так до конца на нем и изъяснялись (ближайший пример: фонвизинский Вральман). Не было в этом смысле в русской литературе у Пушкина и последователей. Между тем, передавая транскрипцией речь оренбургского губернатора, показав как звучит его речь, Пушкин не утомляет читателей искаженным русским героя, убежденный, что читатели и не забудут о его речевой искаженности.

<sup>32</sup>

Там же.

(И уж коли мы заговорили о следах издательской деятельности, оставленных в тексте романа, укажем на распространенную среди пушкинистов еще одну легенду о «явной ошибке» Пушкина, назвавшего Тимофеичем одного из сподвижников Пугачева, с которым вынужден был сидеть за одним столом Гринев<sup>33</sup>. Снова Пушкин указывает этим на авторскую вольность Гринева.)

Так или иначе, но мы можем себе представить, как и м авторитетом пользовался у своих боевых товарищей Андрей Петрович, если к нему, давно уже вышедшему в отставку, сохраняют уважение и оренбургский губернатор, и другой генерал из Следственной комиссии, учрежденной по делу Пугачева («почтенный человек», — отзывается он об Андрее Петровиче), и даже сама императрица, сперва смягчившая приговор сыну «из уважения к заслугам и преклонным летам отца», а потом, убедившись в невиновности Петруши, захотевшая порадовать его отца и порадовавшая Гринева-старшего, лично написав ему. (Что, разумеется, лишний раз свидетельствует об отсутствии какой-либо оппозиционности Андрея Петровича императрице!) Так что есть, конечно, правда и в словах Б.М. Сарнова, приведенных нами в сноске, о том, что, читая ежегодный Придворный календарь, сообщавший о назначениях, награждениях и перемещениях по службе, Гринев мог дивиться прыти тех своих соратников по службе, которых не уважал: «Обоих российских орденов кавалер!..»: все-таки для того, чтобы не по заслугам получить ордена святого апостола Андрея Первозванного и святого Александра Невского или даже любой из этих орденов, нужно было ублажить немало чиновников! Недаром, стало быть, Андрей Петрович, провожая сына на службу, напоминает ему о необходимости смолоду сберечь то, что смолоду сберег сам. Он — человек чести!

Но это, так сказать, в сторону. А возвращаясь к тому, как обошелся с гриневской рукописью издатель, отметим, что про цифры в ней, про конкретные даты он ничего не говорит. Так что зашифрованный год отставки отца — 17.. — свидетельство авторской воли Гринева. И мы бы не стали останавливать на этом внимание читателей, если б исследователи не обнаружили, что поначалу в пушкинской рукописи стояла конкретная дата — 1762 год. Дата, конечно, невероятно значимая: в самый канун 1762 года на русский трон взошел Петр III, но очень быстро — в том же 1762-м — был свергнут с престола своей женой Екатериной. Вот откуда возникли разговоры о том, что Гринев-старший, должно быть

<sup>33</sup> См., например: *Пушкин А.С. Капитанская дочка*. С. 288.



оставшись верным низложенному Петру III, оказался в оппозиции к режиму действующей императрицы. К примеру: «Очевидно, что старший Гринев, подобно деду Пушкина, "как Миних, верен оставался // Паденью третьего Петра"...», — пишет Г.А. Лескис<sup>34</sup>. И спустя страницу снова об Андрее Петровиче Гриневе: «Редкий человек отказался бы, как он, от карьеры ради верности присяге, данной бесталанному и безвольному государю (да ведь к тому же он не волен был этой присяги не давать), и все его сослуживцы, начальники и подчиненные, кроме немногих, перешли на сторону узурпаторши. А он отказался!»<sup>35</sup>

Но ведь все это — домыслы, основанные на пушкинских черновиках, а не на окончательной редакции «Капитанской дочки», где дата отставки Гринев-старшего вовсе не 1762 год. Что и понятно. Какое отношение может иметь подобная дата к тому, о чем рассказывает Петруша? Конечно, никакого! Мы помним, что после выхода в отставку Андрей Петрович женился. И что его сын, прапорщик, был в числе тех офицеров, которым комендант Белогорской крепости капитан Миронов зачитывал секретное сообщение о появлении в окрестностях Оренбурга Пугачева в начале октября 1773 года.

Реальная русская история знает немало примеров раннего участия юноши и даже подростка в боевых действиях. Известный московский главнокомандующий Яков Александрович Брюс, в двухлетнем возрасте записанный солдатом в Семеновский полк и до тринадцати лет последовательно получавший производство в прапорщики, в подпоручики, в поручики, именно в 13 лет уходит на Семилетнюю войну. И воюет храбро и успешно: в шестнадцать становится полковником, через год за блокаду Кюстрина и битву при Цорндорфе — бригадиром. В 19 лет при Петре III Я.А. Брюс уже генерал-майор, в 21 год при Екатерине командует дивизией, произведенный в генерал-аншефы<sup>36</sup>.

В 13 лет начал службу солдатом и Василий Михайлович Долгорукий и уже через год участвует в штурме русской армией под

*Лескис Г.А.* Пушкинский путь в русской литературе. М., 1993. С. 460. "" Там же. С. 461.

Это далеко не единственный пример того, что умная Екатерина вовсе не спешила с расправой над теми, кто был обласкан ее свергнутым мужем. Вот и сам Пушкин, помечая: «Слышал от сен.<атора> Баранова», записывает: «Полковник Чернышев был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках. Он и брат его были любимцы Петра III, который сделал одного подполковником и дал ему полк и второго подполковником. Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала п.<етер>б.<ургским> комендантом, а брата его полковником и комендантом симбирским» (об этом в том издании, которое вышло в серии «Литературные памятники»: *Пушкин А.С.* Капитанская дочка. Изд. 2-е. дополи. Л., 1984" С. 102).

командованием Миниха Перекопа и Очакова. При Елизавете получает под свое начало Тобольский пехотный полк, в Семилетнюю войну вступает генерал-майором, а выходит из нее не только с тяжелым ранением, но и с чином генерал-поручика. В день коронации Екатерины II Долгорукий становится генерал-аншефом. Ему выпало командовать армией, которая покорила для России Крым, за что командующий получил и орден святого Георгия 1-й степени, и шпагу с алмазами, и почетное прозвище «Крымский».

Все это так. И все же даже на этом фоне действующий на фронте девяти-десятилетний офицер был бы нонсенсом! Да и текст «Капитанской дочки» не дает основания для подобной сенсации. «Сколько лет Петруше?» — спрашивает у жены старший Гринев. «Да вот пошел семнадцатый годок», — отвечала матушка.

«Нас было девять человек детей, — сообщает Петруша. — Все мои братья и сестры умерли во младенчестве». (Думаю, что напрасно иные исследователи связывают эту Петрушину фразу с рассказом фонвизинской Простаковой о невероятной плодовитости ее матушки, родившей 18 детей, из которых осталось жить двое. В комедии Фонвизина комические гиперболы уместны. Неуместно только сопоставлять их с горькой реальностью, о которой поведал Гринев и которая в то время была весьма распространена и никого не удивляла. Сам Пушкин вырос в семье, где из восьми появившихся на свет детей выжили только трое.) То есть Петруша мог оказаться и не первенцем у родителей. Но независимо от того, был или не был он первенцем, его год рождения (1756-й, как нетрудно сосчитать), указывает на то, что не пришлось Андрею Петровичу сражаться на фронтах Семилетней войны, которая началась в 1757 году. Потому-то в письме своему старому товарищу он вспоминает только об их совместной службе в армии, которой командовал покойный фельдмаршал Миних.

Он имел все основания гордиться этой службой потому, должно быть, что принимал участие в знаменитой войне с турками 1735—1739 годов, когда армия Миниха взяла не только Перекоп или Крым, но и такие турецкие крепости, как Очаков, Хотин и Азов. Кстати, в этом походе участвовал и комендант Белогорской крепости капитан Миронов. Недаром же Петруша Гринев видит на стене дома коменданта рядом с офицерским дипломом «лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова». Кистрин (Кюстрин) — прусская крепость, которая была осаждена (но не взята! — и об этом мы еще поговорим) русской армией под командованием генерал-аншефа В.В. Фермора в 1758 году (Семилетняя война). Очаков, взятый Минихом, Россия была вынуждена из-за своей союзницы Австрии, заключившей сепаратный договор с Турцией, вернуть назад.

Но это Мировнов мог участвовать в Семилетней войне. (Правда, судя по словам Василисы Егоровны, сказавшей Петруше в 1772 году: "Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда...", он в ней, начавшейся в 1757-м, не участвовал.) А Андрей Петрович — еще раз подчеркнем — не мог. И уж совершенно очевидно, что не мог отец Петруши выйти в отставку в 1762 году!

Очевидно-то оно очевидно, но искушение проинформировать читателя о рукописной дате оказалось настолько велико для такого исследователя, как Г.П. Макогоненко, что он в примечаниях к тексту «Капитанской дочки», изданной в серии «Литературные памятники», совместил несовместимое: «Из печатного текста романа изъята была точная дата отставки А.П. Гринева, сохранившаяся в рукописи, так как, с одной стороны, она подчеркивала принадлежность старого Гринева к лагерю оппозиции, а с другой — была не согласована с возрастом героя, которому в 1773 г. должно было быть не менее 17 лет»<sup>37</sup>. Не говорю уже о том, что изъять нечто откуда-то можно только в том случае, если это нечто там содержится, а никакой «точной даты отставки А.П. Гринева» в печатном тексте романа нет: она осталась в рукописи.

Почему она там оказалась? Скорее всего потому, что первоначальный замысел Пушкина сильно отличается от того, который он реализовал в своем законченном произведении. А вот каким был этот первоначальный замысел, нам никто, кроме самого художника — прояснить не сможет. Пушкин этого не сделал. Он хотел, чтобы мы судили о его замысле по *н а п е ч а т а н н о м у и м т е к с т у* «Капитанской дочки». Не станем нарушать его волю.

А это значит, что мы в отличие от других исследователей не будем обращать внимание и на оставшиеся в бумагах Пушкина планы подступа к роману. На наш взгляд, они не заслуживали и не заслуживают того значения, которое им придавалось и придается, тех горячих споров, которые вокруг них возникают. Можно было бы еще понять полемику и даже включиться в нее, если б не было у нас окончательного текста романа с реализованным замыслом писателя. А в противном случае для чего нам все эти пушкинские «пробы пера»? Чтобы понять «историю создания» произведения, как назвали их в совокупности комментаторы М.И. Гиллельсон и М.Б. Мушина? Но ведь до конца понять мы этого не сможем: планы слишком обрывочны; да и не для нас, а для себя записаны они Пушкиным. Потому и не утихает вокруг них полемика, что каждый предлагает собственную трактовку,

которую нельзя признать единственно верной: нет для этого пушкинского свидетельства. А в этом случае всегда возникает тот феномен, о котором однажды хорошо сказал Ю.Н. Тынянов: пушкинисты читают друг друга, а не Пушкина!

Не будем учитывать мы и так называемую «Пропущенную главу», впервые опубликованную пушкинистом П.И. Бартевым<sup>38</sup>, а в советское время введенную в основной корпус романа в качестве приложения — сразу после последней главы<sup>39</sup>. Никого не остановило при этом, что читатели, успевшие привыкнуть к фамилиям основных действующих лиц, встретятся, *д о ч и т а в р о м а н*, с неким Буланиным, который в романе именовался Гриневым, и с Гриневым, но не с Петром Андреичем, а с тем, чья фамилия раньше была Зурин.

Иначе говоря, главу извлекли из черновой рукописи. Препрежний ее заголовок «Глава XII» был зачеркнут самим Пушкиным, который и дал ей название: «Пропущенная глава». Однако не работал и в роман не включил. Уничтожив черновую редакцию романа, Пушкин тем не менее сохранил «Пропущенную главу» в рукописи, открыв этим широчайший простор для всякого рода предположений.

Понять, почему советские текстологи ввели абсолютно не вписывающуюся в сюжет романа главу, труда не составляет: в «Пропущенной главе» речь идет о *в о с с т а н и и к р е с т ь я н* в имении отца Буланина (читай: Гринева!), о том, как вся семья Буланиных вместе с Савельичем и Марьей Ивановной оказалась плененной восставшими, а потом, когда пленникам удалось запереться в амбаре, ее осадили пугачевцы под водительством Швабрина. Гусары Гринева (читай: Зурина!), избавили пленных от смертельной опасности.

Идеологическая подоплека решения текстологов ясна, но само подобное решение настолько бесцеремонно обходится с пушкинским текстом, что глава должна быть изгнана из него. Никакого приложения к своему роману Пушкин не писал и не публиковал.

А для чего же тогда Пушкин переименовал главу и сохранил ее в рукописи? Об этом много раз спрашивали, на этот вопрос существует великое множество ответов. А мы ответим на это так: не для того, чтобы ввести ее в роман, который опубликовал по собственной воле в своем журнале!

<sup>37</sup> Пушкин А.С. Капитанская дочка. Изд. 2-е, дополи. Л., 1984. С. 283.

<sup>38</sup> Русский архив. 1880. Т. 3. Кн. 1. С. 218-227.

<sup>39</sup> Увы, не избежали этого и публикаторы того текста «Капитанской дочки», на который мы опираемся, вышедшего в серии «Литературные памятники».

## Волк? Человек?

Вернемся к эпиграфам «семейственных записок» Петра Андреевича. Главу II Гринев назвал «Вожатый», и издатель приискал для нее эпиграф из «старинной», как он пометил, песни:

Сторона ль моя, сторонушка,  
Сторона незнакомая! Что не сам ли  
я на тебя зашел, Что не добрый ли  
меня конь завез: Завезла меня,  
доброего молодца, Прыгость, бодрость  
молодецкая И хмелинушка  
кабацкая.

Снова Пушкин слегка отредактировал текст. В первоисточнике — в самой этой рекрутской песне две первые строчки звучат иначе:

Сторона ль ты моя, сторонушка,  
Сторона моя незнакомая.

Издатель снял, стало быть, некую жалобную интимность в обращении рекрута к «незнакомой сторонушке», придав этому обращению суховатую информативность. В результате стихи потеряли хныкающую интонацию. В них выразил себя тот, кто не жалеет о собственной «прытости» или молодецкой бодрости.

Конечно, и прытость, и молодецкая бодрость могут, так сказать, метафорически охарактеризовать мужика, который вывел Петрушу, не внявшего предостережению ямщика и сбившегося с пути во внезапно налетевшем буране. Но — только метафорически. «Он был лет сорока», — пишет о нем Петруша, а в XVIII веке человека подобного возраста уже называли пожилым. Да и не случайно, что, отвечая Гриневу, возьмется ли встречный довести его до ночлега, он уверенно возглашает: «Сторона мне знакомая...», — как бы свидетельствуя и сам, что не имеет ничего общего с тем, кто выразил себя в эпиграфе.

А вот Гринев по собственной вине оказался сперва в буранной мгле, а потом в совершенно незнакомом месте: «Постоялый двор, или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далеке от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань». Он оказался там по беспечности молодости, которую и выражают «прытость, бодрость молодецкая». И «хмелинушка кабацкая» в данном случае действует заодно с ними. Ведь как раз накануне в симбирском трактире Петруша познакомился с Иваном Ивановичем Зуриным, ротмистром-гусаром, который взялся обучать Гринева гусарским манерам и обучал так прилежно, что

тот «проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия»!

Странно, что Б.В. Томашевский не оценил всей значимости их знакомства, написав о Зурине: «Он играет роль в начале романа как игрок на бильярде и в конце романа как командир части, в которую случайно попадает герой. Это могли быть и разные лица, так как Пушкину только и нужно было, чтобы командир конца романа был знаком Гриневу; с эпизодом бильярдной игры это никак не связано»<sup>40</sup>. Но, во-первых, судя по рассказу Петруши, не так уж много было у него знакомых «командиров части». А во-вторых, Зурин — еще одно свидетельство благосклонности Провидения к пушкинскому герою. Разве не ясно, что игра на бильярде, которой взялся учить Петрушу Зурин, опаивая при этом пуншем, проигрыш Гриневым значительной суммы — ста рублей, которые Савельич, несмотря на все свое упрямство, вынужден был выдать, наконец, совместная поездка новых друзей к беспутной Аринушке — все это, по сути, род того же заячьего тулупа, подаренного Петрушей мужику, который вывел его из буранной мглы и впоследствии оказался Пугачевым. Как этот подарок, о котором вспомнил Пугачев, спас Гринева от виселицы, так и трактирный приятель-гусар, уже не ротмистр, а майор, командир гусарского отряда, спас Петрушу от возможного ареста и бесчестия: ведь ехал Гринев от Пугачева и по пропуску, подписанному Пугачевым! Всего только знакомый Петруше командир мог и не вникнуть в суть дела: слишком многое в нем сходилось против Гринева. А явная симпатия, которой успел еще в симбирском трактире проникнуться к Петруше Зурин, свое дело сделала: Гриневу поверили, его оставили воевать в гусарском отряде и не пожалели об этом.

Эта история походов Петруши с Зуриным и несколько других, случившихся с Гриневым, подтолкнули исследователя «Капитанской дочки» В.Г. Маранцмана к удивительному выводу. Он воспринял Петрушу как «наивного шалопая, доброго, но подчиняющегося любому влиянию (Бопре, Зурина, Швабрина)...»<sup>41</sup>. Иными словами, он указал на некую изначальную слабыхарактерность Гринева. По-моему, это неверно. Гринев с самого начала достаточно тверд и независим, но он не упрям и не горд, а главное — любознателен. Чужой опыт привлекает его внимание, потому он и выказывает готовность учиться как у своего непосредственного учителя Бопре, так и у гусара Зурина или бывшего гвардейца

<sup>40</sup> Томашевский Б. В. Указ. соч. С. 248.

<sup>41</sup> Маранцман В. Г. Указ. соч. С. 239.

Швабрина. А о том, как уважает Гринев чужой житейский опыт, как верит этому опыту, как раз и свидетельствует глава «Вожатый», где Петруша, не вняв поначалу ямщицкому предостережению, чуть не погиб вместе с ямщиком и с Савельичем в снежном бурном заносе, но настолько приободрился и успокоился, встретив мужика хладнокровного, взявшегося вывести их к жилью, что сумел заснуть и проспал всю оставшуюся дорогу.

То, что мужик этот возник из бурной бури и словно олицетворил ее, страшно пронесшуюся над Россией, отмечают многие исследователи.

Конечно, есть основания у пушкинистов сопоставлять сцену надвигающегося и надвинувшегося бурана в «Капитанской дочке» с очерком С.Т. Аксакова «Буря», впервые напечатанном без подписи автора в альманахе М.А. Максимовича «Денница на 1834 год». (В 2000 году в Харькове усилиями литературоведов С.Н. Лахно и Л.Г. Фризмана подготовлено и выпущено переиздание «Денницы» 1830, 1831 и 1834 гг. Очерк Аксакова читатель найдет там на страницах 278—283. А на 317 странице узнает из комментариев С.Н. Лахно и Л.Г. Фризмана, почему Аксаков напечатал свою вещь анонимно.) Трудно не заметить, что Аксаков так же, как после него Пушкин, описывает приметы приближающегося бурана («Ветерок потянул с востока к западу... <...> Быстро поднималось и росло белое облако с востока...») и так же, как позже автор «Капитанской дочки», живописует бурную мглу, в которой оказался ехавший в Оренбург хлебный обоз.

Есть все же в пушкинском и аксаковском описании бурана существенная разница. У Аксакова дело происходит зимой в крещенские дни, у Пушкина, как мы уже выяснили, — чуть ли не в конце сентября. С этой точки зрения Пушкин живописует не просто бурю, а природную аномалию. Что, в частности, подтверждает поведение не только неопытного Гринева, но и опытного встречного, жителя этих мест, который явно не ждал подобного проявления стихии. Иначе не пропил бы «вечор» свой тулуп у целовальника.

И поскольку буря, из которой возник Пугачев, несомненно олицетворяет ту стихию, которую он позже возглавит, превратившись из «вожатого» Петруши в вожжа, вожда антиправительственного движения, постольку, стало быть, и он сам, и его движение а н о м а л ь н ы по отношению к нормальному течению человеческой жизни.

Мы уже говорили, что Пушкин и сам совершил путешествие по этим местам, беседовал со многими тамошними жителями и жадно впитывал все детали местного колорита. Так, историк русского кулинарного искусства В.В. Похлебкин, отметив, что в «Капитанской дочке» подчеркнуты «сословные различия в пище»: не-

прихотливая народная еда очень по вкусу, в частности. Пугачеву и его сообщникам, а, допустим, пунш, чай с ромом, французское вино характерны для «барского, господского, офицерского» стола. Отметив это, исследователь особо заостряет внимание читателей на том, что Пушкин не прошел мимо «двух региональных раритетов, специфических для оренбургского и особенно башкирского Приуралья, которые не встречаются больше ни у кого из русских писателей»:

«Нет сомнения, что, работая над "Историей пугачевского бунта" и затем над "Капитанской дочкой", Пушкин услышал и с радостью включил в свой рассказ сообщение о медовом варенье, то есть ягодном, видимо вишневом, варенье, сваренном не на сахаре, а на меду, и о радикальном казачьем уральском средстве от тяжелого похмелья — огуречном рассоле с медом»<sup>42</sup>. (Точности ради можно указать, что эти кулинарные раритеты скорее всего симбирского происхождения. На медовое варенье матушки облизывался Петруша у себя дома. И снять похмелье огуречным рассолом с медом советует Петруше Савельич, симбирский мужик. А в той своей поездке Пушкин посетил не только оренбургское и башкирское Приуралье, но и граничащую с ним Симбирскую губернию.)

Так что местные жители вполне могли описать поэту и колоритные приметы часто повторяющегося там стихийного бедствия. А Пушкин был очень внимателен к подобным предзнаменованиям. Еще в 1821 году он начал одно из своих стихотворений строчкой: «Старайся наблюдать различные приметы», а затем под названием «Приметы» напечатал его в первом своем собрании стихотворений 1826 года, поместив в раздел, который назвал весьма многозначительно: «Подражания древним».

Разумеется, Пушкин мог заимствовать описание бураны и из очерка Аксакова. Весьма продуктивным для понимания важных мотивов пушкинского романа кажется мне взгляды многих литературоведов (наиболее пристально — В.С. Непомнящим<sup>43</sup>) в очевидное тематическое, а порой и текстологическое совпадение бурной сцены «Капитанской дочки» со стихотворением Пушкина «Бесы» (1830). Со своей стороны, вслушаемся в одну их текстологическую переключку:

«Бесы»: «Кони стати... "Что там в поле?" — / "Кто их знает? пень иль волк?"»

«Капитанская дочка»: «Вдруг увидел я что-то черное. "Эй, ямщик! — закричал я. — Смотри: что там такое чернеется?"

<sup>42</sup> Похлебкин В.В. Из истории русской кулинарной культуры. М., 2002. С. 178. <sup>43</sup> Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии Пушкина. 2-е изд., доп. М., 1987. С. 245-247.

Ямщик стал всматриваться. "А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк или человек"».

Если признать, что Пушкин и в самом деле, описывая бурную сцену, вспоминал своих «Бесов» (а не признать этого невозможно: переключка произведений слышна достаточно отчетливо!), то нельзя не обратить внимание на то, что буквально с «Бесами» здесь совпадает только один образ из тех, что мерещатся ямщику: и там и там ему видится волк!

Что ж. В снежной тьме, окутавшей «чистое поле» («Бесы») или «печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами» («Капитанская дочка»), наиболее, пожалуй, правдоподобно ожидать появления волка, устремленного к своему логову, которое чувствует за много верст от него. Мы не знаем, подтвердилась ли догадка ямщика в «Бесах», но в «Капитанской дочке» ямщик не ошибся, он же сказал: «или волк или человек».

Первое, что поразило Петрушу во встречном, — это воистину его волчье чутье. «Дымком пахнуло», — объяснил дорожный, почему надо ехать в указанном им направлении, хотя кроме него никакого дыма никто больше не почувствовал. Не услышал его даже ямщик, который по должности обязан быть предельно чуток ко всему, что происходит вокруг (да он и был таким: ведь это он предупредил Петрушу о надвигающемся буране).

Я не первый, кто указывает сейчас на связь «Капитанской дочки» с фольклором. Но, указывая на нее, исследователи ищут подтверждение этому: кто — в иных образах или мотивах романа, кто — в эпиграфах к главам, кто — в пословицах и поговорках, разбросанных по речам его персонажей.

В.Б. Шкловский, например, выводит мотив «помощного разбойника» в пушкинском романе из мотива сказки: «Помошный разбойник. Он же в прошлом помошный зверь. Герой оказывает разбойнику услугу, разбойник его потом спасает»<sup>44</sup>.

Но такого рода вещи могут и стинно свидетельствовать о жанре романа, опирающегося на фольклор, только в том случае, если нам удастся выявить его фольклорную основу. Иначе даже смотрящиеся весьма правдоподобными утверждения о волшебной-сказочной композиции «Капитанской дочки»<sup>45</sup> окажутся всего только приблизительными, устанавливающими не тождест-

<sup>44</sup> Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе 1914—г 1933). М., 1990. С. 343.

<sup>45</sup> См.: Смирнов И.П. От сказки к роману // История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1973. С. 306—308. (Труды отдела древнерусской литературы. Вып. XXVII).

во, а случайное совпадение. К примеру, счастливый конец произведения — обязательный жанровый признак сказки. Но не достаточный, чтобы свидетельствовать именно о ней: хэппи-энд присущ и многим произведениям, никак не связанным с фольклором. Иными словами, мотивы произведения, элементы его композиции или его образы обретут фольклорную плотность, если автор представит нам доказательство, что заложил в фундамент своего произведения семена не только вымысла, но и народного творчества, которые, прорастая, переплетаясь с ростками вымысла, станут органическими частичками его романа.

И Пушкин нам такое доказательство представил. Правда, его Гринев, начав было излагать суть явления: «Мне приснился сон. которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни», вынужден немедленно оговориться для просвещенной, так сказать, публики, весьма далекой от фольклорной образности, не понимающей ее: «Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам».

Дело не только в том, что пророческий сон Гринева («чудный» называл такие сны сам Пушкин) представляет собой как бы сжатый конспект «странных обстоятельств» жизни героя, которые и занимают целиком его «семейственные записки», являются основным художественным предметом исследования романа «Капитанская дочка». И не в том, что отдельные детали этого сна совпадают с реальностью: Петруша на самом деле отказался целовать Пугачеву ручку, Пугачев на самом деле на него за это не обиделся. Да и посаженным отцом Гринева Пугачев чуть было не стал на самом деле. Точнее, как раз все эти совпадающие с реальностью фрагменты «чудного» Петрушиного сна говорят о возможностях оборотня, которого увидел Гринев в чернобородом мужике. Его окликают отцовским именем, он лежит в отцовской постели, но оказывается не отцом. Все «с печальными лицами» ожидают его близкой кончины, а он весело посматривает на Петрушу. Нарубил топором множество народу, залил спальню кровавыми лужами, но к Гриневу ласков — проявляет готовность благословить его...

«...Или волк или человек», — говорил, как мы помним, о нем ямщик, не подозревая, конечно, о том, что обозначает самую суть фольклорного образа романного героя. «Вера в превращения или оборотничество», — писал крупнейший наш толкователь фольклора А.Н. Афанасьев, — принадлежит глубочайшей древности; источник ее таится в метафорическом языке первобытных племен. Так веровал народ на Руси в вовкулаков, которые днем (при

свете) были обычными людьми, но ночью (во мраке) оборачивались волками. «Они, — рассказывает о вовкулаках А.Н. Афанасьев, — состоят в близких сношениях с нечистыми духами, и самое превращение их в волков совершается при помощи дьявольской»<sup>46</sup>.

Иными словами, А.Н. Афанасьев ведет речь о бесах. С этой точки зрения вслушаемся в странный разговор хозяина постоялого двора с чернобородым мужиком, который, с одной стороны, как раз и вывел к умету нерадивого недоросля, его дядьку и ямщика, а с другой — оказался героем пророческого Петрушиного сна. «Эхе... — узнал мужика хозяин и спросил его: — Отколе Бог принес?»

«Вожатый мой мигнул значительно, — пишет Гринева, — и ответил поговоркою: "В огороде летал, конопля клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?"

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит».

Жанровая вариация этого разговора, с одной стороны, основана в «Капитанской дочке» на его общем характере: разговор этот не для непосвященных. Но, с другой стороны, в сказках и мифах (а их, как видим, вбирает в себя жанр этого пушкинского произведения) такие разговоры как раз и ведут те, кто «состоят в близких отношениях с нечистыми духами» и кто до поры до времени скрывают от других эти отношения. Так что фольклорная составляющая пушкинского романа в данном случае прямо указывает на бесов. Что же до еще одной его составляющей, связанной с авторским замыслом, то, разумеется, что чернобородый мужик и хозяин умета говорят сейчас о понятных только для них вещах. Немаловажно, конечно, что речь того и другого пересыпана народными поговорками. Но показательно, что Савельич слушал их простонародный диалог «с видом большого неудовольствия», что он «посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого».

<sup>46</sup> Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 525. 530—531. Не только славяне знали этих бесов и верили в них. Поэтому, к примеру, когда Е.Ю. Полтавец, ссылаясь на «Мифы народов мира», называет «вовкулаков» «волкодлаками» (см.: Полтавец Е. «Незванные гости» и самозванцы в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина // Литература. 2004. № 25—26. С. 44), она не отходит от истины.

Да и Гринева называет их разговор «воровским». (А реальным вора, разбойника, бандитам привычно шифровать свою речь, менять свои имена и т.п.) Причем настаивает, что его оценка окончательна, ибо высказывает ее задним числом: «Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирённого после бунта 1772 года».

В главе VI он расскажет об этом казацком бунте более подробно. А мы, отметив, что хозяин умета, по словам Гринева, был «родом яицкий казак» и что у чернобородого мужика-вожатого «волоса были обстрижены в кружок», т.е. по-казацки, снова обратимся к фольклорной составляющей пушкинского романа, которая обоих этих казаков представляет как бесов, а одного из них — чернобородого мужика — как оборотня, как вовкулака. Еще до того как чернобородый мужик поднял и возглавил восстание, объявив себя свергнутым Екатериной II царем Петром Федоровичем, до того как судьба Гринева в значительной мере будет зависеть от этого самозванца, Петруше предсказано, что ему придется иметь дело с волком в человеческом обличии или с человеком в волчьей шкуре!

Видимо, здесь же стоит обратить внимание и на мифологическую основу мотива самозванства в «Капитанской дочке». Нам уже приходилось говорить, что, дав в своем романе оренбургскому губернатору имя отца Петруши, боевого приятеля генерала — Андрей, Пушкин как бы еще более их сблизил, подчеркнул, быть может, этим их духовное родство. А для мифа, на котором основана «Капитанская дочка», оказывается чрезвычайно важной значимость этого имени, то, что Андрей в переводе «мужественный». Так же важно для этого мифа, что и комендант Белогорской крепости, и преданный ему сослуживец названы Иванами. Иван (Иоканаан на древнееврейском) — «милость Бога». И оба офицера — Иван Кузьмич и Иван Игнатьич, — несомненно, одарены подобной милостью: они доброжелательны, добронравны, прямодушны, неколебимы в вопросах долга и чести. Есть в «Капитанской дочке» еще один Иван — гусар Зурин. Будучи другого, более младшего поколения, чем капитан Миронов и его поручик, он, быть может, менее щепетилен относительно моральных устоев, но и он отмечен Божьей милостью: доброжелателен, неуступчив, когда дело идет о долге или чести.

Очень примечательно в мифе, питающем своими соками пушкинский роман, что жену коменданта крепости зовут Василисой Егоровной. Ведь Василиса в переводе с греческого «царица». И она воистину царствует в Белогорской крепости: указывает уряднику, у какого именно казака должно поселить Гринева, при-

казывает Ивану Игнатьичу: «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи». Самовластно строга со Швабриным и с Петрушей, которых застигают начавшими дуэльный поединок. Им тоже определяет наказание, вызвав этим раздраженное недовольство Швабрина: «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузьмичу: это его дело». Но Василису Егоровну смутить указанием на собственное место очень непросто: «Ах, мой батюшка! — возразила комендантша. — Да разве муж и жена не один дух и единая плоть?» Возразила, разумеется, не по существу: к служебным обязанностям мужа такие ее доводы никакого отношения не имеют. Но вот, как пишет Гринев, в данном случае «Иван Кузьмич не знал, на что решиться», а жена его действовала самым решительным образом. В полном соответствии со значимостью своего имени. А в том и состоит важнейший жанровый закон мифа, что в мифе имя героя — всегда его сущность, определяющая и его сюжетную функцию в этом жанре.

Вот почему с большой осторожностью следует отнестись к религиозному подходу к пушкинскому роману вообще и к тому же мотиву самозванства в нем в частности. А этим в последние полтора десятка лет грешили и грешат многие пушкинисты. Приведу очень характерный пример — цитату из работы известного исследователя В.Н. Турбина:

«Непонятно, что должны были делать ангелы и святые в случае с Пугачевым, положим: святой Емилиан должен был хранить Емельяна; но исчез Емельян, и выходит, что теперь уже надо оберегать Петра? Но Петрами ведают Петр, апостол. В общем, в Космос вторгается хаос, вносимый Логосом. Несомненно, подобное — грех: грех есть всякий поступок, всякое слово или хотя бы помысел, подрывающий гармонию Космоса: человек ответственен за весь мир во всех его измерениях, в этом, видимо, и есть сущность христианства. Емельян не должен был превращаться в Петра и, бежав от покровительства одного святого, произвольно перекидываться к другому...»<sup>47</sup>

Но литературные жанры, и в частности миф, с религией не связаны и от нее не зависят. Объявляя себя Петром, «камнем» в переводе с греческого, Пугачев присваивает себе не свою сущность — пытается утвердиться в роли сверхтвердого, не знающего колебаний руководителя. А поскольку такая роль не соответствует его характеру, то и удается она ему не слишком: недаром он так

не уверен в соратниках — сетует, что в случае чего они выкупят собственные жизни его, пугачевской, головой. А главное — объявляя себя Петром, т.е. скрывая свое подлинное имя, Пугачев скрывает свою подлинную сущность, которая проступает в пушкинском романе как главная функция этого героя, готового соперничать хоть с отцом Петруши (в символическом гриневском сне), хоть с действующей императрицей, готового мериться силами с кем угодно. Даже с прусским королем. На это и указывало имя Емельян — «соперник» в переводе с латинского. А по-гречески Емельян — «хитрец». И такую свою черту тоже скрывает и тоже не в силах скрыть Пугачев. Например, когда, пытаясь завербовать себе в сторонники Петрушу, примеряет на того собственное жизненное кредо: «Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька». Не говорю уж о многократно подчеркнутой (и, стало быть, разоблаченной для читателя романа) напускной важности самозванца!

Не только такие фольклорные мотивы проясняют истинное отношение Пушкина к Пугачеву. Следы этого отношения мы найдем и в самом романе, с п е ц и ф и к а ж а н р а которого прежде всего заключается в том, что он о с н о в а н на мифе, или, если угодно, одновременно является и романом и мифом. Но всему свое время. Пока что встреча Гринева с чернобородым мужиком, спасшим Петрушу и его спутников от возможной гибели, закончилась тем, что в благодарность Гринев поднес спасителю стакан вина и подарил ему, несмотря на сопротивление Савельича, заячий тулуп. И после короткого отдыха отправился в Оренбург, откуда, недолго пробыв у губернатора Андрея Карловича Р. и получив от него назначение, последовал к месту своей службы в Белогорскую крепость. Последуем за ним и мы.

## Старинные люди

Мы в фортеции живем,  
Хлеб едим и воду пьем; А  
как лютые враги Придут к  
нам на пироги, Зададим  
гостям пирушку: Зарядим  
картечью пушку.

Подлинная ли эта «солдатская песня», как назвал ее издатель, предваряя ею главу III записок, которая поименована Гриневым «Крепость»? Или здесь заявляет о себе знаменитый пушкинский

<sup>47</sup> Турбин В.Н. Незадолго до Водолея. М., 1994. С. 84.

протеизм, его блистательное владение мастерством стилизации? На эти вопросы мы ответить не сможем: текст этой «солдатской песни» в допушкинских изданиях до сих пор не разыскан. Отметим, однако, как перекликается добродушная непритязательность быта и нравов обитателей «фортеции» (так на иноязычный лад в петровское и несколько поздние времена называлась крепость) с тем же добродушием и с той же непритязательностью, какие подметил Петруша у обитателей Белогорской крепости. Первый же солдат — «старый инвалид», которого встретил Петруша в доме коменданта (а из «стареньких инвалидов» состояла немалая часть войска крепости), «нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира», явно не сетуя на судьбу, заставляющую его шеголять подобным разноцветьем. И Василиса Егоровна, жена капитана Миронова, коменданта крепости, по-доброму, по-хорошему встретит сообщение Гринева о том, что его отец владеет тремястами крестьянских душ: «Ведь есть же на свете богатые люди!» «А у нас, мой батюшка, — продолжит она, и мы не услышим в ее голосе никаких оттенков зависти, — всего-то душ одна девка Палашка: да, слава Богу, живем помаленьку».

А обстановка в доме Мироновых? Украшения, которые хозяева повесили на стену своей комнаты? «...На стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и погребение кота». Как много говорит этот набор о семейной чете! Ясно, почему был забран в стекло и в рамку и вывешен на всеобщее обозрение не капитанский, но просто о ф и ц е р с к и й диплом. По той же самой причине, по которой собственноручное письмо Екатерины II к отцу Гринева, содержащее «оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова», тоже оказалось у наследников Петра Андреича «за стеклом и в рамке», — как предмет семейной гордости. И Мироновым было чем гордиться. Их глава семейства вышел «в офицеры из солдатских детей». Не как Петруша, с рождения записанный в гвардию сержантом только из-за своего происхождения (из дворян) и потому — согласно тогдашнему порядку чинопроизводства — переведенный в армию прапорщиком. Нет, Миронов получил офицера (а значит, и дворянство) за ратные подвиги!

Мы говорили уже о том, что прусская крепость Кюстрин была осаждена русской армией, но не взята ею. Прав ли А.Л. Осповат в том, что название этой картинки подсказано иронической аттестацией одного из персонажей комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды»: «В народе говорят, что камер-пажем был / Он сделан в торжество за взятие Кистри-

на»?<sup>48</sup> Эта написанная в 1815 году комедия вызвала огромное количество откликов и вполне могла быть на слуху у Петра Андреевича Гринева, не утратившего и в старости интереса к текущей литературе. Ирония в наименовании Гриневым (или стоящим за его спиной Пушкиным) вымышленной лубочной картинки несомненна. Но можно ли уподобить капитана Миронова персонажу Шаховского? По-моему, нет! А утверждение А.Л. Осповата о том, что «если *взятие Кистрина* — это победа, которая не была одержана, то *взятие Очакова* — это победа, которая не может быть одержана однажды и навсегда...»?<sup>49</sup> (Очаков, взятый Минихом, — мы писали об этом, — России пришлось отдать назад и брать его снова через пятьдесят лет екатерининскому полководцу Потемкину.) Исторически оно бесспорно, однако, накладывая исторические факты на роман, исследователь приходит, по-моему, не просто к спорному, а неверному выводу: не существовавшие в реальности лубочные картинки в «Капитанской дочке» исполняют, по мнению А.Л. Осповата, «предикационную функцию». Предикат — это логическое сказуемое, это то, что в суждении высказывается о предмете суждения. Обе картинки, таким образом, истолкованы как высказывание «в контексте романа, описывающего случаи "взятия" и "невзятия" крепостей (Белогорская, Оренбург...)»<sup>50</sup>.

Но кто в романе заинтересован в таком «высказывании»? Гринева, который измыслил эти лубки? Пушкин, который измыслил Гринева? Для чего им обоим нужна была бы предикативность картинок, которая никак и ничем не проясняет сути описываемых событий? Не говорю уж о Мироновых, которые не дожили до окончательного покорения Очакова и потому тоже вряд ли задумывались о предикативности своих лубков!

А ведь как раз в контексте «Капитанской дочки» особенно прояснено, что обе эти картинки отражают вехи военной биографии капитана Миронова. Очаков — свидетельство его участия в походе под командованием фельдмаршала Миниха. Пародийный лубок, изображающий взятие невзятой крепости, удостоверяет, скорее всего, что к ее осаде Иван Кузьмич отношения не имеет. Да и Василиса Егоровна это засвидетельствовала. Не только в разговоре с Гриневым в 1772 году. Она и через год снова подтвердит, что в начатой, как мы помним, в 1757 году Семилетней войне ее муж не участвовал, когда заговорит о боевой надежности

48 Основат А.Л. Из комментария к «Капитанской дочке»: Лубочные картинки // <http://www.ruthenia.ru/document/530953.html>

49 Там же. 50

Там же.



Белогорской крепости: "Слава Богу, двадцать второй год в ней проживаем".

Конечно, по контрасту с М.И. Гиллельсоном и И.Б. Мушиной, решивших, что «набор лубочных картинок, представленный в доме Мироновых, скорее всего случаен»<sup>51</sup>, попытка А.Л. Осповата объяснить именно неслучайность набора представляется более верной. Но само это объяснение, как видим, нуждается в существенном уточнении при том, что в отношении тех лубков, висящих на стене у Мироновых, которые представляют «выбор невесты и погребение кота», исследователь убедителен и говорит по существу дела.

Особенно ценным следует признать увязывание А.Л. Осповатом сюжета «Капитанской дочки» с лубком «Мыши кота погребают»: их связь «реализуется на уровне пояснительных надписей, где постоянно варьируется имя предводителя бунта, который управляет на виселицу капитана Миронова. Мышь, занимающая в похоронной процессии одно из двух заметных мест — впереди, держа в руках лопату, или за дровнями, но тоже с лопатой, — носит прозвище соответственно *Емелька гробылак* и *Емелька могилак...*». Следовательно, утверждает А.Л. Осповат, *погребение кота* предсказывает Марье Ивановне «гибель отца»<sup>52</sup>.

Думаю, что в таком объяснении намного больше правды, чем в желании А.И. Иваницкого «прочитать пророческий смысл лубка "Погребение кота" в комнате Миронова». Смысл этот, по мнению А.И. Иваницкого, наполнен намеками на судьбу Гриневца. Висящий в мироновской комнате лубок «указывает герою предстоящий ему путь и свойства, которые тот должен обрести, — парадоксального, иррационального хитроумия, способности зайти за обратную сторону мира, чтобы победить»<sup>53</sup>.

Разбирать подобные толкования не станем по той хотя бы причине, что представляется абсолютно невероятным само предположение, что лубок, висящий в доме одного героя «Капитанской дочки», пророчески нечто не ему, не его семье, а совсем другому герою, который всего только рассматривает развешанные хозяевами дома украшения на стенах!

Так что еще раз отгадаем должное правоте А.Л. Осповата, по мнению которого и *выбор невесты* тоже очень значимый для несчастной семьи лубок. Он пророчит «замужество дочери»<sup>54</sup>. Ско-

<sup>51</sup> Гиллельсон М.И., Мушина М.Б. Указ. соч. С. 101.

<sup>52</sup> Осповат А.Л. Указ соч.

<sup>53</sup> Иваницкий А.И. Исторические смыслы потустороннего у Пушкина: К проблеме онтологии петербургской цивилизации. М., 1998. С. 234. <sup>54</sup> Осповат А.Л. Указ соч.

рее всего, это так и есть. Ведь судьба Маши — главная тревога ее родителей. О чем и говорит Гриневу Василиса Егоровна: «Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Материнская тревога понятна, но в ней, как видим, сквозит и надежда на «доброе человека».

Иными словами, в Белогорской крепости Петруша очутился в окружении пристойной бедности, самодостаточного добронравия. В окружении людей, которые, как писал Гринев о себе, «воспитывались... не по-нынешнему».

Вот почему я не могу согласиться с теми многочисленными комментаторами «Капитанской дочки», кто считает, что второй эпиграф к третьей главе — из «Недоросля», как пометил его издатель, — неточен только потому, что Пушкин записал его по памяти. «Старинные люди, мой батюшка», — гласит эпиграф, тогда как Простакова у Фонвизина произносит: «Старинные люди, мой отец!»

Но, всматриваясь в текст третьей и других глав «Капитанской дочки», где появляется Василиса Егоровна, видишь, что «батюшка» и особенно «мой батюшка» — любимое ее обращение к собеседнику, ее излюбленная присказка. Пушкин редактирует Фонвизина так же, как и Княжнина: никакого упоминания о персонаже пьесы, из которой цитирует, и максимальная приближенность своего эпиграфа к тому, как говорят, как думают и как ведут себя персонажи гриневского повествования. «Старинные люди, мой батюшка» — так с полным правом могла сказать о себе и о своем окружении Василиса Егоровна Миронова. Так и воспринял их и нравственные принципы, которые они исповедуют, Петруша Гринев.

С этой точки зрения особым смыслом наполнятся и строчки из другого эпиграфа к главе — из «солдатской песни», которую мы уже цитировали: «А как лютые враги / Придут к нам на пироги, / Зададим гостям пирушку: / Зарядим картечью пушку». Придумал ли их издатель или они существуют независимо от него, но он соотнес их, в частности, с тем местом записок Гриневца, где Василиса Егоровна рассказывает о своей дочери: «...Маша трусиха. <...> А как тому два года Иван Кузьмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж не палим из проклятой пушки». «Звать на пирог», по В.И. Далю, и значило в старину звать на именины. Что же испугало Машу на именинах матери? Пушечная пальба? Но в седьмой главе романа пушка Белогорской крепости уже выстрелит в настоящего врага. И Маша на вопрос капитана Миронова: «Что, Маша, страшно тебе?» — ответит: «Нет, папенька... дома одной страшнее».

«Тому два года», — сказала Василиса Егоровна о тех своих именинах. А незадолго до этого она же рассказывала Петруше: «Швабрин Алексей Иванович вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство». Был, стало быть, Швабрин на ее именинах. О том, какие чувства испытывает к нему Маша, она сама скажет в следующей, четвертой главе Гриневу: «Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».

Забежим вперед. Для пятой главы записок Гринева Пушкин тоже подобрал два эпиграфа, причем второй из народной песни:

Если лучше меня найдешь, позабудешь,  
Если хуже меня найдешь, вспомнянешь!

В своем месте мы укажем на связь этого эпиграфа с текстом, с той же Марьей Ивановной. Сейчас же обратим внимание на то, что начинается эта народная песня словами, по которым она и названа: «Вещевало мое сердце, вещевало». Скорее всего, поэтому и выбрал ее для эпиграфа издатель: у Маши Мионовой — вещее сердце. От пушечной пальбы, как выясняется, она в обморок не упадет. Напугал ее на именинах матери именно Швабрин. Чем? Возможно, уже одним своим присутствием, своим существованием. И хотя месяца за два до Петрушиного появления в Белогорской крепости Швабрин сватался к Маше, ощущение этого страха у нее не исчезло. А, быть может, только укрепилось. Ведь ее страх тесно переплетен с гадливостью по отношению к Алексею Ивановичу: «Он очень мне противен...» А это значит, что ощущает Маша Швабрина не просто как врага, но как врага заклятого, «лютого» (если вспомнить эпиграф к главе III).

## Друзья — соперники — враги

Впрочем, так же, как Маша, станет ощущать Швабрина и Петруша, а Петрушу Швабрин. Их короткое приятельство закончится взаимной ненавистью. Об этом расскажет глава IV гриневских записок, для которой издатель нашел еще один эпиграф из Княжнина, из его комедии «Чудаки»:

— Ин изволь и стань же в позитуру.  
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Конечно, по смыслу такой эпиграф перекликается с яростью обоих героев, зафиксированной в этой главе гриневских записок:

« — Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве. — Ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице: "Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию".

— Изволь, когда хочешь! — отвечал я обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его».

Но по стилистике эпиграф ближе поручику Ивану Игнатьичу, готовому отпрапортовать коменданту, «что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу», ближе эпиграф по стилистике и самому коменданту Мионову, который, как и Иван Игнатьич, не читал, в отличие от Петруши и Швабрина, французских книг, но, как и его соратник Иван Игнатьич, помнит воинский устав, написанный не разговорным языком, а книжным, совпадающим с официальным (отсюда обилие канцеляризмов), на котором изъяснялись персонажи тогдашней литературы, в том числе и герои княжнинской комедии. Уже «Недоросль», «Бедная Лиза» и «Горе от ума» — каждое произведение по-своему шагнуло навстречу разговорному языку. Но окончательно превратил разговорный язык в литературный Пушкин, который, однако, описывая прежние эпохи, был очень чуток к их языковым особенностям. Вот и капитан Мионов в «Капитанской дочке» официально изъясняется на языке своего времени: «Поединки формально запрещены в воинском артикуле». «Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете», — напишет в своем отчаянном письме Гриневу пленница Швабрина Марья Ивановна, самым этим словом «сикурс», значившим «помощь», введенным в военный обиход Петром I и почти все XVIII столетие бытовавшим в военных поселениях, свидетельствуя, что воистину она — капитанская дочка. Иными словами, стилистика эпиграфа четвертой главы указывает на тех персонажей в ней, которые вызывают к разумности, пытаются воспрепятствовать дуэли, остановить ее. А смысл эпиграфа передает, что этого сделать им не удастся. Глава названа Гриневым «Поединок», и эпиграф к ней возвещает, что поединок этот все же закончится дуэлью, на которой один из ее участников «проколет» другого.

А ведь какие поначалу дружеские отношения установились между Петрушей и Швабринами! Как простодушно объяснил Швабрин Петруше свою поспешность — «без церемонии» — познакомиться с ним: «Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени!»

С какой, как пишет Петруша, «большой веселостью» описал Швабрин «семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба». Ясно, что веселил Гринева Швабрин и ве-

селится сам от сознания, что наконец-то в крепости появился человек, с которым он может быть на равных: ведь он слышал, конечно, что Гринев, как и он, Швабрин, переведен в армию из гвардии. А за что переведен Петруша, — для Швабрина не так суть важно. Вряд ли он сомневается в том, что не по собственному желанию вместо столицы оказался Петруша в армейском залуэстном гарнизоне.

На веселости Швабрина остановить свое внимание стоит хотя бы потому, что больше нигде в романе он такую черту не выказывает. В своем кругу, как видим, он мог быть веселым. Но не было на протяжении повествования у Швабрина своего круга. А Гринев, к которому Швабрин сначала относился очень дружелюбно: занимал разговорами, давал французские книги, из этого круга очень скоро выпал.

Потому что Швабрин злоречив? «С первого взгляда она не очень мне понравилась, — пишет Петруша о Марье Ивановне. — Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкой». А потом обнаружил, что его новый приятель вообще склонен к злословью. К примеру, про Ивана Игнатьича «Швабрин выдумал, будто бы он был в неопозволенной связи с Василисой Егоровной...» «Что не имело и тени правдоподобия...» — комментирует Гринев. И тут же добавляет: «...но Швабрин о том не беспокоился», — показывая этим, что не относится серьезно к швабринскому злоречию, что оно его не задевает.

Правда, только поначалу. Только на первых порах знакомства клевета Швабрина забавляет Петрушу как некая невинная в сущности (Швабрин ведь и сам не заботился о правдоподобии) часть веселой натуры его приятеля. «С А.И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день, — свидетельствует Петруша, — но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Вседавние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне». Однако и эта нарастающая неприязнь к новому приятелю никак не предвещала того, что последовало за чтением Гринева Швабрину своей песенки.

Почему многие литературоведы объявили Петрушину стихотворение «слабым», «графоманским»? Почему в оценке даже наиболее снисходительных из них проскальзывает явное пренебрежение: «Неважно, что его "вириши" не отличались особым литературным мастерством...»?<sup>55</sup> Ведь в подобных характеристиках Петрушиного творчества они солидаризируются со Швабриным, который «самым колким образом» издевается над автором и его стихами, и

полностью игнорируют то обстоятельство, что, давая оценку своим стихам: «Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны...» — Петр Андреич Гринев подкрепляет ее очень весомым для тогдашнего времени авторитетом: «...и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их хвалил». А ведь умер Сумароков в 1877-м: через пять лет после написанного Петрушей стихотворения, над которым глумился Швабрин. Да и что плохого в сочиненных Гриневым стихах:

Мысль любовну истребляя,  
Тщусь прекрасную забыть, И  
ах, Машу избегая, Мышлю  
вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,  
Всемиутно предо мной; Они  
дух во мне смутили,  
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,  
Сжался, Маша, надо мной;  
Зря меня в сей лютой части, И  
что я пленен тобой.

Они архаичны? Для тогдашнего времени вполне современны. Как разыскали исследователи, Пушкин попросту обработал стихи, напечатанные и в «Новом и полном собрании российских песен», изданном Н.И. Новиковым (М., 1780. Ч. 1. С. 41. № 34), и в «Собрании разных песен» М.Д. Чулкова (СПб., 1770. Ч. 1. С. 45—46. № 34). Причем и там и там первые два куплета полностью совпадают между собой и значительно с песенкой Гринева:

Мысль любовну истребляя.  
Тщусь прекрасную забыть, И  
от взоров убегая, Тщуся  
вольность получить. Но глаза,  
что мя пленили, Всемиутно  
предо мной, Те глаза, что дух  
смутили, И разрушили покой.

А в сборнике Чулкова, которым, по мнению литературоведа А.А. Карпова, скорее всего и пользовался Пушкин в своей работе над Петрушиным стихотворением<sup>56</sup>, напечатан куплет, очень близкий заключительному из песенки Гринева:

56 См.: Карпов А.А. Об источнике стихотворения Гринева // Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982. С. 140—142. Мнение этого литературоведа может подтвердить и тот факт, что именно сборник Чулкова (часть 1-я), по свидетельству Б.Л. Модзалевского, находился в библиотеке Пушкина.

55 Гранин Г.Г., Концевая Л.А. Психологический анализ художественного текста в учебнике «Русская филология» (А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»). Сообщение 1 // <http://www.psyedu.ru/view.php?id=204>.

Ты ж узнав мои напасти, И, что я пленен  
тобой, Зри меня в жестокой части,  
Сжался, сжался надо мной<sup>51</sup>.

Разумеется, что, обрабатывая так старую любовную песню, Пушкин стремился внушить читателю мысль не о некоем плагиате, который совершает его герой, а о том, что песенка, сочиненная Гриневым, была вполне на уровне литературы тогдашнего времени, «изрядна», как выразился о ней Петр Андреич. И недаром его сочинения хвалил Сумароков, автор многих любовных песен, некоторые из которых стали народными. Потому что стихи Гринева внятно говорят о школе именно этого метра отечественного стиха — Александра Петровича Сумарокова.

«...Такие стихи, — отозвался о гриневской песенке Швабрин, — достойны учителя моего, Василия Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплеты».

Удивительно, что, комментируя эти слова, одни литературоведы поверили в то, что Швабрин и вправду был учеником Тредиаковского, другие — в то, что стихи Гринева «очень напоминают» стихи Тредиаковского.

И те и другие поверили по непонятному мне недоразумению.

Вот типичный образец стиля «любовных куплетцев» Тредиаковского:

Покинь, Купило, стрелы:  
Уже мы все не целы,  
Но сладко уязвлены  
Любовною стрелою Твоею  
золотою;  
Все любви покорены.

К чему нас ранить больше?  
Себя лишь мучишь дольше.  
Кто любовью не дышит?  
Любовь всем нам не скучит, Хоть нас  
тая и мучит,  
Ах сей огонь сладко пышет!

*(Начало стихотворения «Прошение любви»)*

51 Цитируя, я позволил себе прасодически выправить текст, сплошь написанный правильным четырехстопным хореем. В сборнике Чулкова первые две строчки четверостишия напечатаны так: «Ты ж, узнав мои напасти, / И узнав, что я пленен тобой...» Думаю, что второе «узнав», выпадающее из всего ритмического строя большой песенки. — ошибка, не замеченная теми, кто имел отношение к составлению или изданию сборника.

По-моему, если сравнить их с песенкой Гринева, то может показаться, что между ними пролегла эпоха. В сущности, так оно и есть. Поэтическое реформаторство Сумарокова самым печальным образом сказалось на стихах Тредиаковского, заставив их безнадежно устареть!

Почему же Швабрин называет себя учеником Тредиаковского? Потому что иронизирует, дразнит «сумароковца» Гринева. А почему он сближает Петрушину песенку с любовными куплетцами Василия Кирилловича? Потому что Швабрин читает не только французские книги, он начитан и в русской литературе. И даже не просто начитан в ней, но достаточно хорошо осведомлен об утвердившихся в ней нравах. В частности, знает, как враждебно относились друг к другу Тредиаковский и Сумароков, сколь непримиримы между собой были их последователи, знает поэтому, с каким изумленным негодованием воспринял бы представитель сумароковской школы сообщение о том, что его стихи могут кому-то напомнить стихи Тредиаковского. Знает и расчетливо язвит Гринева этим отзывом.

А зачем ему язвить Петрушу? Конечно, Швабрин мечет язвительные стрелы оттого, что песенка Гринева ему не просто не понравилась, — она его взбесила (и вовсе не из-за скверной якобы своей выделки!).

В последнее время в педагогических изданиях появляются работы, авторы которых (чаще всего учителя литературы) убеждены, что Маша, к которой обращена песенка Гринева, не имеет отношения к Марье Ивановне Мироновой, что это некий образ воображаемой стихотворцем возлюбленной. Но ведь текст «Капитанской дочки» достаточно определенно высказывается по этому поводу:

« — А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в вечной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы она ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!» Этот разговор, который ведется на повышенных тонах, способен по-новому высветить нам то обстоятельство, что поначалу Швабрин представил Марью Ивановну только что прибывшему в крепость Гриневу «совершенному дурочкой». Не потому ли он поспешил со своим представлением, чтобы опередить иное мнение, которое могло бы сложиться о Маше у молодого человека? Наверняка поэтому. Ведь, как рассказала Петруше Марья Ивановна, Швабрин «месяца два до вашего приезда» «за меня сватался»! Сейчас, разговаривая со Швабриным, Петруша об этом еще не знает, но мы-то можем догадаться о далеко не равнодуш-

ном отношении Швабрина к Марье Ивановне, оценивая его «дружеский совет» «скромному любовнику», как иронически именует он Петрушу: «коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками» (устаревшее «хочешь успеть» — это нынешнее «хочешь достичь успеха»; «успех» от слова «успеть»), оценивая быстро разгорающуюся ненависть между вчерашними приятелями, явно замешанную на ревности! Не зря ведь еще до того, как написал он свою песенку, Гринев свидетельствовал, что особенно ему не нравились швабринские «колкие замечания о Марье Ивановне»!

« - Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела. "А почему ты об ней такого мнения?" — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою, что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричат я в бешенстве. — Ты лжешь самым бесстыдным образом».

Ну разве не ясно, из-за чего сейчас груб и беспощаден к Гриневу Швабрин? Произошло то, чего он так боялся: Петруша увлекся Марьей Ивановной. И убедила его в этом именно Петрушина песенка.

Но и Гринев, привыкший снисходительно относиться к небылицам, которые Швабрин рассказывает про их общих знакомых, новую небылицу терпеть не станет. Недаром в нем сейчас кипит кровь, недаром он в бешенстве. Потому что клеветает Швабрин не на кого-нибудь, а на Машу Миронову, равнодушные к которой Гринев выразил в своей песенке.

И разве не о том же свидетельствует разговор в доме коменданта, где соперники, чтобы успокоить тех, кто мог бы воспрепятствовать их дуэли, прикинулись примирившимися и где Василиса Егоровна чрезвычайно удивилась, узнав, что ссора произошла из-за песенки: «...Да как же это случилось?» Послушаем ответ Швабрина:

« — Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул свою любимую:

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь.

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось».

А ведь песенка, которую якобы затянул Швабрин, снова бьет по чувствам Петруши: ходящая в полночь гулять капитанская дочка — аналог той, кто придет к тебе на свидание за пару серег. Понятна Петрушина реакция на это невинное вроде швабринское разъяснение: «Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков...»

Любопытно, что в рукописи «Капитанской дочки» Швабрин продолжил "любимую" свою песенку: "Заря утренняя взошла, / Ко мне Машенька пришла". Но нетрудно понять, почему Пушкин отказался от такого продолжения.

Две строчки песенки, оставшиеся в рукописи, — это, как установил И.И. Грибушин в работе «О песнях "Капитанской дочки"»<sup>58</sup>, начало новой и чрезвычайно популярной в то время литературной песни: «Заря утренняя взошла, / Ко мне Пашинька пришла...» Отвечая матери Марьи Ивановны и подменяя имя песенной героини, Швабрин не только оскорблял намеками Марью Миронову, но и недвусмысленно дал бы понять родителям, что именно из-за их дочери случилась у них с Гриневым «разладица». Потому и остались эти строчки в пушкинской рукописи, что посвящать других (особенно родителей Маши) в истинную причину будущей дуэли с Петрушей в планы Швабрина, конечно, не входило. А вот в удовольствии лишний раз оскорбить, задеть, взбесить соперника Швабрин себе не отказал!

Отчего Белинский решил, что у Швабрина «мелодраматический характер»?<sup>59</sup> Где в романе Швабрин проявляет какие-либо преувеличенные, неадекватные ситуации чувства? Мы уже поняли, какими мотивами он руководствуется, издеваясь над Петрушиной песенкой, ведя дело к дуэли. Поняли, во имя чего, во имя кого он будет пытаться убить Гринева, устранить его физически. А о том, что, в отличие от Петруши, он не станет обременять себя понятием о чести — воспользуется тем, что Гринев во время дуэли на мгновение обернется на голос разыскивающего его Савельича, и нанесет в эту секунду сопернику страшный (к великому сожалению для Швабрина не смертельный!) удар, — о том, стало быть, что благородство Швабрину не свойственно, предупреждала Гринева Василиса Егоровна, когда стыдила того за намерение драться со Швабриным: «Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в Господа Бога не верует...»

Конечно, Белинский ошибся: поведение Швабрина на протяжении всего романа рационально-расчетливо.

58 Временник Пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979. С. 85—89.

59 Белинский В.Г. Собр. соч. Т. 6. С. 190.

Он сообщил об их дуэли с Петрушей старшему Гриневу<sup>0</sup> А что же еще ему оставалось делать, если он понимал, что Гринев-младший неизбежно запросит у родителей благословения на брак с Марьей Ивановной, потому что видел, как набирают обороты после дуэли отношения раненого Петруши и ухаживающей за ним Маши. У него оставался единственный шанс расстроить их отношения, используя яростное неприятие стариком Гриневым дуэли как ненавистного старым воякам повесничанья. И Швабрин этот шанс не упустил.

Впрочем, не только Белинский ошибся в оценке Швабрина. Сразу же после появления «Капитанской дочки» в печати В.Ф.Одоевский, приятель Пушкина, пишет ему: «Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева». И дальше со ссылкой на «Иосифа Прекрасного» — так Одоевский называет О.И. Сенковского: «По выражению Иосифа Прекрасного, Швабрин *слишком* умен и тонок, чтобы поверить возможности успеха Пугачева, и не довольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на такое дело» (Т. 16. С. 196).

Конечно, Швабрин вряд ли всерьез полагал, что самозванцу удастся сесть на русский трон. Вряд ли не понимал, что его дворянское происхождение (а он не из какого-нибудь мелкопоместного дворянства, он, как говорит о нем Петруше Марья Ивановна, «хорошей фамилии»!) закроет ему дорогу к продвижению на пугачевской службе. Но ему и не нужны были чины и звания. Для чего же он перешел на сторону Пугачева? Именно потому, что он «довольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на такое дело»! Следует признать, что ни Сенковский, ни Одоевский не поняли характера Швабрина. Хитрый и неглупый («умный» — в этом его определении Сенковский солидарен с Машей), он точно рассчитал, что уж кого-кого, а офицеров Белогорской крепости Пугачев не помирует. А кто среди этих офицеров? Отец Маши, капитан Миронов, который так же, как и его жена, никогда бы не благословил брак дочери с безбожным циником Швабриным. Поручик Иван Игнатьич, отзывавшийся Гриневу о Швабрине: «Я и сам до него не охотник», — а подобного отношения к себе Швабрин не мог не ощущать. Кто еще? Петруша Гринев — его удачливый, как он чувствовал, соперник. Переходя на сторону Пугачева, он, что называется, одним махом семерых поби-вахом — чужими руками убирал из жизни мешающих ему людей.

Его расчет оправдался только отчасти: Петрушу Пугачев помиловал. Что ж, он и это обстоятельство в будущем использовал, когда предстал перед Следственной комиссией по делу Пугачева и немало поспособствовал тому, чтобы его сопернику был выне-

сен суровый приговор. Это в будущем. А назначенный Пугачевым комендантом Белогорской крепости, он тиранит любимую им Марью Ивановну, понуждая ее выйти за него замуж, угрожая в противном случае отвезти ее в лагерь к Пугачеву. И больше того! Действительно сдает ее злодею, открывая Пугачеву, что Маша вовсе не племянница здешнего попа, как ее представили самозванцу, а дочь казненного им коменданта крепости. Но это уже после того, как Пугачев изъявил желание обвенчать Гриневу с Марьей Ивановной: «Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкой...»

Понимает ли Швабрин, что, открывая Пугачеву подлинное Машино имя, подвергает дочь капитана Миронова смертельной опасности? Несомненно. Но как Марье Ивановне, по ее собственному признанию, «легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович», так и Швабрину легче предать Машу смерти, чем уступить ее сопернику. Помните развязку «Бесприданницы» А.Н. Островского? Потерявший надежду вернуть назад невесту, Карандышев стреляет в нее с криком: «Так не доставайся ж ты никому!» Вот и Швабриным движет схожее чувство, которое вновь проступит, когда он предстанет перед Следственной комиссией и будет свидетельствовать против Гриневу еще и для того, в частности, чтобы не позволить ему соединиться с Марьей Ивановной.

«...Только простодушие, — пишет исследователь Пушкина А.Н. Архангельский, — мешает главному герою догадаться, что Швабрин умалчивает на допросе о Марье Ивановне лишь потому, что боится ее свидетельства в пользу Гриневу, а не потому, что хочет уберечь ее от неприятностей»<sup>60</sup>. Не думаю, что в данном случае Швабрин боится свидетельства Маши. Он наверняка трактует однозначно и определенно явную симпатию самозванца к Гриневу: тот приезжал выручать Марью Ивановну вместе с Пугачевым и выручил ее с помощью самозванца! Опровергнуть этот очевидный факт Марья Ивановна не сможет. Так же, как и повернуть его в пользу Гриневу. С точки зрения Швабрина, ничего не знающего об истоках пугачевской симпатии к Гриневу, свидетельство Марьи Ивановны будет основано только на ее эмоциях, к которым вряд ли преклонит ухо Следственная комиссия. Тем не менее Швабрин не называет на допросах Машиного имени. И скорее всего по той же причине, что и Гринев.

<sup>60</sup> Архангельский А.Н. Герои Пушкина. Очерки литературной характерологии. М., 1999. С. 136.

«Маша так долго в его власти, а он не пользуется этими минутами», — удивляется Швабрину В.Ф. Одоевский в цитированном уже здесь письме Пушкину (Т. 16. С. 196). По-моему, удивляется напрасно. Вот если б пушкинский герой воспользовался «этими минутами», то правы оказались бы и Белинский, и Сенковский, и Одоевский, и Архангельский: Швабрин вышел бы типичным мелодраматическим злодеем, для которого нет ничего святого в этом мире. Но ведь недаром тот же Сенковский сказал о нем: «слишком умен и тонок». Умный и тонкий, хорошо понимающий других, Швабрин не может не чувствовать отношение к себе Марьи Ивановны, для которой, как мы уже отмечали, легче умереть, чем выйти за него.

«Смысл жизни, — сказал замечательный русский писатель М.М. Зощенко в своей книге «Возвращенная молодость», — не в том, чтобы удовлетворять свои желания, а в том, чтобы иметь их»<sup>61</sup>. И неважно, что эта мудрость высказана спустя столетие после «Капитанской дочки». Она, объясняющая, в чем состоит с м ы с л ж и з н и каждого человека, в том числе и Швабрина, на все времена. Что дало бы Швабрину его насилие? Только то, что Маша, вне всякого сомнения, наложила бы на себя руки. А смерти Марьи Ивановны, пока она в его власти, Швабрин ни за что бы не допустил! Мучил бы ее, держал бы в темнице, угрожал ей, но и надеялся бы при этом на благополучный для себя исход — на то, что ему удастся назвать Марью Ивановну своей суженой!

Пушкин не зря назвал свою героиню Марией. Это имя переводится с древнееврейского на русский не только как «любовь», но и как «страсть». Любовь облагораживает человека, страсти нередко оскверняют людей, развращают их, приводят к злодейству. Конечно, судя по всему, и до встречи с Марьей Ивановной Швабрин не отличался благородством. Но разгоревшаяся страсть к ней окончательно сформировала его облик. Примем во внимание, что имя Швабрина Алексей образовано от греческого глагола, который переводится как «защищать», «отражать», «предотвращать». Охваченный страстями Швабрин стремится предотвратить любые контакты Марьи Ивановны с внешним миром, отразить поползновения на нее любого соперника, защитить ее даже от его любимого, предлагая взамен только себя. Таков сюжет пушкинского романа, где двое любят одну, но одного любовь возвышает, помогает достойно и с честью выйти из самых запутанных ситуаций, а другого унижает, заставляет идти к цели, не брезгуя никакими средствами, даже предательством.

<sup>61</sup> Зощенко Мих. Собр. соч.: В 3 т. Л., 1986- 19Х7. Т. 3. С. 126.

Но думается, что не только это обстоятельство имел в виду Пушкин, называя свой роман в честь Маши Мироновой. Он ведь назвал его не по имени и фамилии героини, а по ее семейной связи с отцом-капитаном. Марья Ивановна — дочка капитана Миронова, который и помыслить не может о том, чтобы нарушить присягу или поступиться честью, что окажется небезразличным и Пугачеву и Екатерине, но главное — станет предметом постоянной тревоги за Машу любящего ее Петруши и весомого шантажа той же Маши со стороны любящего ее Швабрина.

Дуэль между Гриневым и Швабриным, можно сказать, была предрешена. И не только фактический поединок в четвертой главе воплотил в явь эту предрешенность. В духовном смысле их дуэль продлится до самого конца романа, пока Швабрин не исчезнет из жизни Маши и Петруши. А в четвертой главе Швабрин, воспользовавшись тем, что внимание Гринева на минуту было отвлечено неожиданно появившимся Савельичем, «проколет», как и предвещал эпиграф к главе, Петрушу.

## Испытания любви

Но кажется, что вспоминающего об этом Петра Андреича Гринева куда больше занимает то обстоятельство, что очнулся он в доме коменданта крепости Ивана Кузьмича Миронова, где за ним, раненым, ухаживала дочь коменданта Марья Ивановна, его, Петрушина, любовь. Он так и назвал главу V: «Любовь», назвал не только в честь Маши, а потому что именно в этой главе дал волю своему чувству, убедился, что любим Марьей Ивановной, сделал ей предложение и уже не мыслил дальнейшей своей жизни без этой спутницы.

Он не подозревал, однако, каким испытаниям извне подвергнется его чувство. Два эпиграфа, выбранные издателем для этой главы, как ледяной душ для Петруши. Хотя первый из них обращен не к нему:

Ах ты, девка, девка красная! Не  
ходи, девка, молода замуж; Ты  
спроси, девка, отца, матери. Отца,  
матери, роду-племени: Накопи,  
девка, ума-разума. Ума-разума,  
приданова.

Мы помним, как сокрушалась Василиса Егоровна, что ее дочь оказалась бесприданницей. Но народная песня, откуда взял цитату для эпиграфа издатель, говорит о совсем другом прида-

ном, которым Марья Ивановна владеет с избытком: о ее уме, разумности, осмотрительности, ее понимании счастья как вечной устремленности к гармоническому совершенству, для которой ее произвели на свет родители и на которую они ее всегда благословляют. Без их благословения не пойдет Марья Ивановна за Петрушу, что, конечно, того не испугает: и Василиса Егоровна, и Иван Кузьмич относятся к нему как к родному. Да и сама Маша не сомневается в том, «что ее родители, конечно, рады будут ее счастью». «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?» Ибо не пойдет она замуж, не спросясь «роду-племени»: ей необходимо, чтобы их с Петрушей брак был освящен благословением будущих свекра и свекрови. Не потому, что, как напоминают об этом М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина, «по законам российской империи дети, вступившие в брак без согласия родителей, могли быть по жалобе отца или матери подвергнуты тюремному заключению на срок от 4 до 8 месяцев и лишены права наследования имущества»<sup>62</sup>. А потому что печется Марья Ивановна не о себе. Узнав об отказе Андрея Петровича благословить брак его сына, услышав от Петруши: «Пойдем кинемся в ноги к твоим родителям... <...> Они нас благословят, мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего...», — она категорически отвечает: «...Я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья». «Т е б е»! Любовь (а мы помним, что именно так и назвал главу Гринев) для Марьи Ивановны — это полное духовное единение с любимым, это невозможность счастья для себя, если он несчастен. Можно сказать, что такой любви она обучает Петрушу, которого поначалу оскорбило письмо отца: «Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым». А Марью Ивановну это письмо не оскорбило, но наполнило неизбывной горестностью: «Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля Господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» И никакие резоны, приводимые Петрушей, не заставят ее изменить свою позицию. «Покоримся воле Божией», — завершает их разговор Марья Ивановна и прощается с любимым человеком фразой, свидетельствующей и о ее готовности к самопожертвованию, и о том, как невероятно тяжело ей оно дается (потому она ее и не договорила): «Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — Бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...»

<sup>62</sup> Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. соч. С. 113.

Конечно, ближе всего к этой, труднейшей для Марьи Ивановны фразе второй эпиграф, который подобрал издатель для этой главы. Мы уже цитировали эти строки из народной песни:

Если лучше меня найдешь, позабудешь, Если  
хуже меня найдешь, вспомняешь! —

и говорили о том, что начинается эта песня словами, по которым и названа: «Вещевало мое сердце, вещевало». Марья Ивановна не предрекает Петруше, как он поведет себя в случае, если найдет другую. Переключка ее слов с авторским эпиграфом выявляет в них больше сердечности по отношению к любимому, больше горестной боли по отношению к собственному чувству. А сердце вещуньи подсказывает Марье Ивановне, что удержаться от проявления своего чувства, не подпитывать больше Петрушины надежды на восстановление отношений можно, только если сразу и окончательно разорвать все связи с Гриневым. О чем он и написал, констатируя, что, «разгораясь», его любовь «час от часу становилась мне тягостнее»: «Марья Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал мне постыл».

Но в следующей, шестой главе, где будет получено известие о взятии Пугачевым Нижне-Озерной крепости, расположенной неподалеку от Белогорской, и потому капитан Миронов примет решение отправить дочь в Оренбург, сама возможность разлуки, кажется, потрясла влюбленных не меньше, чем весть о приближении Пугачева. «Я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. "Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, Господь приведет нас друг с другом увидеться; если ж нет..." Туг она зарыдала. Я обнял ее. "Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мной ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!" Маша рыдала, прильнув к моей груди».

Впрочем, главу VI Гринев назвал «Пугачевщина» и посчитал необходимым хотя бы одним абзацем объяснить, откуда свалилась на Россию страшная беда. Полудикие народы, не так давно признавшие владыку над собой русскою царя, еще не привыкли к российским законам, часто их нарушали и выходили из повиновения. Чтобы удержать их в нем, было построено немало крепостей, защиту которых доверили немногочисленным гарнизонам, состоявшим из русских солдат и издавна живущих на яицких берегах казаков. Но казаки и сами любили вольницу и ответили



в 1772 году генералу Траубенбергу на меры по наведению порядка, предпринятые в их войске, сильным волнением. Бунтовщики убили Траубенберга и были усмирены «картечью и жестокими наказаниями». Погашенный бунт оказался, однако, подобен тлеющему костру, о чем свидетельствовал, в частности, зловещий, зашифрованный для посторонних ушей диалог двух казаков во второй главе «Капитанской дочки» — хозяина постоянного двора и того черного мужика, который сумел вывести Петрушу из бурной мглы. Уже этот диалог показывал, что раздуть костер Пугачеву труда не составит: слишком памятливы для казаков были жестокие наказания. А уж полудикие народы рады были поучаствовать в любых беспорядках.

На этом Гринев оставит несвойственное ему историческое повествование, чтобы приступить «к описанию странных происшествий, коим я был свидетель». А издатель высмотрит в этих описаниях очень важную мысль, к которой направит читателя своим эпиграфом к шестой главе, взятым из известной в то время песни:

Вы, молодые ребята, послушайте,  
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Где в этой главе Гринев обратился к «молодым ребятам»? После рассказа о безуспешной попытке коменданта Миронова допросить старого башкирца, который был схвачен «с возмутительными листами» — с обращением Пугачева к солдатам, казакам и офицерам царских крепостей. «У него не было ни носа, ни ушей», — пишет Петр Андреич. И комендант узнал «по страшным его приметам одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году» (мы еще поговорим о том, каким образом читатели пушкинского романа будут проинформированы, что речь здесь идет о жесточайшем подавлении восстания в Башкирии). Оказалось, что приметы бывшего бунтовщика еще страшнее: поняв, что его собираются пытаться, старик «открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок».

«Когда вспомню, — завершает рассказ об этих приметах человеческого варварства Гринев, — что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия». И вот оно — откликающееся эпиграфу обращение «старого старика» Петра Андреича: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Именно здесь, в середине повествования, находится нравственный нерв его. Накануне описания пугачевских зверств в Белогорской крепости Гринев счел нужным оговорить свое отношение ко всяким насильственным потрясениям.

Оно останется неизменным до самого конца романа независимо от того, как сложится судьба самого Гринева, который однозначно припечатал действия Пугачева и его сообщников: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

В советское время, когда торжествовала классовая, партийная идеология, воспевающая так называемые «народные восстания», эти мысли Гринева яростно оспаривали, объявляли, что сам Пушкин никогда бы с ними не согласился. И не то чтобы не замечали, что Пушкин в незаконченном своем «Путешествии из Москвы в Петербург» почти дословно повторил Гринева: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» (Т. 11. С. 258). Но объясняли, что и здесь Пушкин говорит не от себя, а от имени некоего воображаемого автора «Путешествия» (хотя элементарная логика должна бы подсказать, что само перенесение одной и той же мысли из незавершенной рукописи в завершенное произведение показывает, насколько важно было Пушкину донести эту мысль до читателя!).

Увы, инерция идеологического противопоставления, в данном случае Пушкина и его героя, дает о себе знать и в постсоветских работах, по-прежнему весьма осложняя для читателя путь к постижению пушкинского замысла.

К примеру:

«В главе "Пугачевщина" Гринев размышляет над причинами восстания, но видит их в строгостях Траубенберга. Гринев может рассуждать о юридической основательности пытки и самопризнания преступника, но государственного мышления в нем это еще не обнаруживает. Гринев — сторонник просвещения и нравственного прогресса "без потрясений". Пушкина более всего волнуют исторические эпохи, когда эти потрясения были особенно сильны при Петре I и Пугачеве. Правда, и Гриневу приходится признать необходимость "сильного и благого потрясения" истории. Ведь не будь "неожиданных происшествий", не соединиться Гриневу с Машей, на которой отец жениться запретил, не обрести мужества, не научиться защищать свои чувства. Все важное, общезначимое содержание повести связано с потрясением от мятежа, но внимание Гринева сосредоточено на личных отношениях его с Машей. Швабриным, Пугачевым. Записки Гринева конча-

ются идиллией помилования Гринева императрицей, о трагедии казни Пугачева рассказал издатель. Но даже этот частный, чисто личный взгляд на историю, свойственный Гриневу, побуждает признать, что грозные события были благотворны для судеб героев, что они не погубили, а спасли. Все содержание повести опровергает слова о бессмысленной жестокости бунта и служит нравственным его оправданием»<sup>63</sup>.

Комментируя эту выписку из работы В.Г. Маранцмана, следует прежде всего удивиться тому, как обращается с пушкинским произведением ученый. Вырвав из текста слова Гринева о «сильном и благом потрясении», он наполнил их содержанием, резко отличающимся от того, которое имел в виду герой Пушкина. Судите сами. Вот эти слова, которыми заканчивается глава «Любовь» и которые, если угодно, вводят нас в следующую, шестую главу — «Пугачевщина»: «Неожиданные происшествия, имевшие важные влияния на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение». Ощутить «сильное и благое потрясение», какое дали твоей душе те или иные исторические события, вовсе не значит признать необходимость сильного и благого потрясения и с т о р и !

И не поразительно ли, что современный исследователь на рубеже XX и XXI веков пренебрежительно отмахивается от рассуждений Петра Андреевича, сомневающегося в юридической обоснованности пытки: «Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невиновности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности»? Как мог В.Г. Маранцман не обнаружить в этих рассуждениях «государственного мышления»? Ведь Гринев выступает в них не просто носителем либеральных ценностей, которые, несомненно, сформировались в результате «сильного и благого потрясения» его души в течение немалого времени. Он выступает еще и человеком, который озабочен престижем своей страны, престижем, зависящим от того, как на деле воплощает государство в своих законах либеральные ценности. «Даже и ныне, — продолжил Гринев, — случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая».

Маранцман В.Г. Указ. соч. С. 241.

А нам, далеким потомкам Пушкина, не случилось разве и не случается слышать таких судей, для которых неважно как добытое признание подсудимым своей вины — не признак варварского правосудия, а, по слову А.Я. Вышинского, бывшего прокурором в один из самых страшных периодов истории нашей страны, «царица доказательств»? Или Маранцман берет под сомнение государственность мышления тех, кто не приемлет варварства карательных органов в своем отечестве?

А суждение В.Г. Маранцмана о том, что, дескать, не будь мятежа Пугачева, Гринев не смог бы соединиться с Марьей Ивановной, не обрел бы мужества, не научился бы защищать свои чувства? О каком обретении Петрушей мужества идет речь? Разве он до появления Пугачева в романе показан трусом? И разве Петруша поджимал хвост, когда Швабрин оскорбил его чувства, а не вышел на дуэль, чтобы защитить их? А главное: подобное суждение представляет Гринева редкостным эгоистом, бесчувственным даже к горю своей будущей жены, в один день потерявшей обоих родителей, убитых по приказу Пугачева.

Да, в тринадцатой главе после известия о поимке Пугачева Петруша, представляя себе скорую встречу с Марьей Ивановной, «прыгал как ребенок» и в то же время признавался: «Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию столько же невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: "Емеля, Емеля! — думал я с досадою. — Зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать"». И пояснял: «Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина». Но очень показательно, что, вспоминая о том, как пощадил его Пугачев, Петруша не забывает: это происходило «в одну из ужасных минут его (Пугачева. — Г.К.) жизни», помнит, конечно, и о том, сколько таких ужасных минут, часов, дней было в жизни Пугачева. И потому понятная человеческая благодарность Пугачеву не заслоняет представления Гринева о самозванце как «о злодее, обрызганном кровию столько же невинных жертв».

Такое Петрушино представление не меняется с момента появления Пугачева в романе — не мужика-вожатого в бурной мгле, а самозванца. Недаром он назвал главу, где капитан Миرون зачитывает своим офицерам секретное генеральское послание о появлении самозванца и где известие о набирающих силу мятежниках перестает быть секретом для жителей Белогорской крепости, — «Пугачевщина». Суффикс *-щин-* в русском языке всегда подчеркивает отрицательное отношение тех, кто им вос-

пользовался, к тому явлению, которое он призван обозначить. Недаром и в главе XI, где Гринев вместе с Пугачевым едут вызволять Марью Ивановну из швабринского плена, Петруша очень тревожится, думая «о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба...»: «Я вспоминал об опрометчивой жестокости, кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станет с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...»

В этой же главе. Пугачев — Гриневу: «Ты видишь, я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья». «Я вспомнил, — пишет Гринев, — взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова».

Конечно, помощь Пугачева, вырвавшего Марью Ивановну для Петруши из рук Швабрина, сильно добавила личной симпатии Гринева к главарю мятежников: «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время». Но обратите внимание: «из среды злодеев»! Даже в минуту сильного сочувствия Пугачеву Гринев не проявляет никакого нравственного оправдания бессмысленного и беспощадного бунта!

И даже в эту минуту Пугачев для Гринева «ужасный человек, изверг, злодей для всех, кроме одного меня». «Кроме одного меня!» — вот что очень важно. Для чего же приписывать Гриневу мысли о том, что «грозные события были благотворны для судеб героев, что они не погубили, а спасли»? Разные герои встают со страниц «семейственных записок» Гринева. Среди них, в частности, Василиса Егоровна и Иван Кузьмич Мироновы. Игнорировать их судьбы, не принимать во внимание того, что грозные события осиротили Марью Ивановну, по-моему, безнравственно. А какова оказалась судьба всегда благожелательного к Петруше поручика Ивана Игнатьича? Что сделала с ним грозные события?

Вспомним сон, приснившийся Гриневу, когда тот ехал по буранной степи и в котором позже нашел «нечто пророческое»: «Мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах...» «Волк или человек», — определил движущуюся в буране черную точку ямщик и в фольклорной, мифологи-

ческой составляющей романа оказался прав: черный мужик, проливший море крови уже не в пророческом Петрушином сне, а наяву, — ужасный человек, изверг, злодей — волк для всех. Кроме одного Петруши, сумевшего установить с ним, погубившим свою душу, человеческие отношения и не оправдывать его бесчисленных злодейств.

## Торжество зверства

Всего этого издатель не упускает из виду, когда для главы VII, названной Гриневым «Приступ», подбирает эпиграф из народной песни о казни стрелецкого атамана:

Голова моя, головушка, Голова  
послуживая! Послужила мне  
головушка Ровно тридцать лет и  
три года. Ах, не выслужила  
головушка Ни корысти себе, ни  
радости, Как ни слова себе  
доброго И ни рангу себе  
высокого; Только выслужила  
головушка Два высокие  
столбика, Перекладинку  
кленовую Еще петельку  
шелковую.

Тот самый башкирец, который вчера еще (в предыдущей главе) потряс Гринева своим изуродованным пытками обликом, сегодня «очутился верхом» на перекладине виселицы. «Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузьмича, вздернутого на воздух». Следом за комендантом повесили поручика Ивана Игнатьича за то, что тот тоже, как и капитан Миронов, не только отказался присягать Пугачеву на верность, но назвал его вором и самозванцем. Повели вешать и Петрушу по приказу Пугачева, которому сказал «на ухо несколько слов» переметнувшийся к нему Швабрин. И повесили бы, не бросься в ноги Пугачеву Савельич. «А узнал ли ты, сударь, атамана?» — спрашивает он своего молодого барича в следующей главе. «Нет, не узнал; а кто ж он такой?» — удивлен Петруша. «Как, батюшка! Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик, совсем новешенький...» И Пугачев подтверждает Гриневу, что тот «покачался бы на перекладине, если б не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча». Следует признать, что свою роль в том, что Петруша остался жить, сыграло и нетерпеливое желание Швабрина увидеть Гри-

нева повешенным. Ведь «несколько слов», сказанных Швабриным Пугачеву, избавили Петрушу от необходимости «повторить», как он намеревался, «ответ великодушных моих товарищей». Сказав «великодушных», Гринев словно ставит памятник Ивану Кузьмичу и Ивану Игнатьичу, запечатлевая величие их душ. Мы можем только догадываться, каким страшным обвинением Гриневу прозвучали слова Швабрина для Пугачева, если тот, не взглянув на Петрушу, приказал его повесить. Но не будь этих швабринских слов, Пугачев услышал бы от Гринева, стоявшего перед толпой, то же, что слышал от двух других офицеров крепости, и вряд ли после прозвучавшего на всю площадь «вор и самозванец» сумел бы сохранить ему жизнь, даже опознав благодаря Савельичу того, кто некогда подарил ему заячий тулуп!

Да, непосредственно с судьбой Гринева эпиграф седьмой главы не соотносится. Он оплакивает капитана Миронова и поручика Ивана Игнатьича, мужественных, не изменивших присяге защитников Белогорской крепости, которые предпочли смерть бесчестию.

В прошлой — главе VI, советуя жене уехать из крепости вместе с дочерью, говорил ей, в частности, капитан Миронов, основываясь, очевидно, на опережающих пугачевцев слухах об их зверствах: «Даром что ты старуха, посмотри, что с тобою будет, если возьмут фортецию приступом». Седьмая глава полностью подтвердила эти слухи, показала, что у бандитов, возглавляемых Пугачевым, не осталось ничего человеческого: «В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку». Но самым страшным потрясением для Василисы Егоровны было увидеть своего мужа на виселице. И не случайно эпиграф седьмой главы перекликается с рыдающими словами старой Василисы Егоровны, выдержанными в жанре народного плача: «Свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!»

Подыскивая эпиграф к этой главе, издатель стремился наиболее объемно раскрыть замысел Гринева, назвавшего главу VII «Приступ». В русском языке это слово означает не только осаду, допустим, крепости или штурм ее, но и «приступ к работе, начало» (В.И. Даль). То, что Белогорская крепость была осаждена пугачевцами и осада эта длилась какое-то время, — факт несомненный. Ведь еще на рассвете Швабрин находился среди офицеров крепости, а в момент их казни он, «обстриженный в кружок и в казацком кафтане», уже был «среди мятежных старшин» Пугачева.

А вот штурм, который предрекал комендант Миронов: «Теперь стойте крепко... будет приступ...» — не было. Несмотря на то что капитан Миронов всячески ободрял своих солдат, призывал их доказать «всему свету, что мы люди brave и присяжные», т.е. напоминал им о мужестве и присяге, которую они принесли императрице, дело, дошедшее до вылазки, окончилось плачевно. Ворота открыли, «комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом, но оробелый гарнизон не тронулся». Набевавшие пугачевцы без всяких усилий ворвались в крепость, пленив ее офицеров.

Но рассказ обо всем этом составляет только половину небольшой главы, тогда как другая половина описывает казни и насилие. И заканчивается глава новым преступлением Пугачева, который, услышав, как убивается по своему повешенному мужу Василиса Егоровна, приказал: «Унять старую ведьму!» «Тут, — пишет Гринев, — молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним».

Иными словами, ворвавшись в крепость, Пугачев и его банда приступили к привычной своей работе — к зверским расправам с теми, кто осмеливался выступать против них.

Правда, в главе VIII Петруша, оказавшийся против своей воли за одним столом с Пугачевым и его сподвижниками, слушает их беседу: «Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях». Ясно, что понимали под «приступом» сами пугачевцы. «Каждый хвастал, — продолжает рассказывать об этом Гринев, — предлагал свое мнение и свободно оспаривал Пугачева». Хвастать зверством никто из них, конечно, не стал бы, — скорее всего, каждый преувеличивал свою роль во взятии Белогорской крепости (вполне возможно, что они говорили и о ее удавшемся штурме), которая пала, однако, как мы видели, не благодаря их военным талантам, а из-за предательства казаков, гарнизона и Швабрина.

В литературе о «Капитанской дочке» принято сравнивать этот импровизированный военный совет у Пугачева, на котором решено было на следующий день идти к Оренбургу, с тем военным советом, который созвал оренбургский губернатор для обсуждения гриневского предложения немедленно выслать войско для освобождения жителей Белогорской крепости. Думаю, что подобное сравнение не слишком корректно. Одно дело, когда совещаются главари банды, не связанные между собою уставными отношениями и не скованные иерархической робостью (атаман для них — авторитет, но и первый среди равных, каждый из которых поэтому, как мы помним, «предлагал свои мнения и свободно ос-

поривал Пугачева»). И совсем другое — армейский военный совет при генерале, при командующем, особенно такой, какой показан Гриневым: члены совета озабочены не только истинным положением дел, но еще и тем, чтобы понравиться генералу, чтобы выглядеть в его глазах в высшей степени компетентными специалистами, хотя, как мы уже говорили, сам совет принял достаточно взвешенное решение (разумеется, в первую очередь благодаря командующему).

Думаю, что не соответствуют тексту романа и характеристики, которые дали М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина песне, распеваемой за столом пугачевцами, и Гриневу, когда он ее слушает. Стоит ли присоединяться к тем, кто считает, что, назвав песню «Не шуми, мати зеленая дубровушка» «бурлацкой» (а не разбойничьей), Пушкин якобы подчеркнул этим связь Пугачева не только с казачеством, но и с крестьянской массой: дескать, «бурлаком» в XVIII веке называли крестьянина, зарабатывающего отхожим промыслом?<sup>64</sup> Ничего крестьянского в содержании этой песни нет, и составители русских песенников, за которыми следует Пушкин, называя песню бурлацкой, отсылали читателя не к крестьянину, а к бурлаку в значении «бродяга», «бездомный» (мы найдем такое значение не только у В.И. Даля, но и в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки»). В «Капитанской дочке» Пугачев с товарищами поют именно свою, так сказать, кастовую песню: казаки в основном происходят из бездомных бродяг, оказавшихся таковыми по разным причинам, — чаще всего сбегавших от помещичьего произвола. Что же до впечатления Гринева от пения пугачевцев, то он сам его исчерпывающе описал: «Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом». Можно, конечно, назвать это потрясение «сильнейшим волнением, испытанным молодым Гриневым». Но потрясен он совсем не тем, что приписывают ему М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина. По их мнению, Гринев «в этот момент как бы интуитивно постигает и масштаб личности Пугачева, и грандиозность, смелость и дерзость всего народного движения, обреченного на трагический конец»<sup>65</sup>.

Но мог ли Гринев, который пришел в осиротевший дом капитана Миронова, где пили и пели Пугачев с товарищами, забыть

о том, что видел по пути? Что «виселица с своими жертвами страшно чернела»? Что «тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом...»? Могли он простить эти жертвы палачам? Этого как раз и не позволяет утверждать потрясший его «пиитический ужас», который в состоянии многое объяснить. Петруша не оправдывает тех, кто поет про виселицу, сам обреченный виселице. Не поэтизирует их, не считает хотя бы на минуту романтическими героями (он ведь написал не о восторге, а об ужасе!). И недаром их немалую по объему песню он выписывает целиком, — так, как он ее слышал, от начала до конца. Ничего хорошего не сулит она ее герою. Ничего хорошего не сулит она и тем, кто сейчас ее распевает: унылое выражение их грозных лиц — лучшее тому свидетельство! Думаю, что трудно согласиться и с Т.А. Алпатовой, которая следующим образом разъясняет этот эпизод романа: «Живой голос поэзии оказался убедительней людского закона. Петруша Гринев не покорился мятежникам в их "силе и зверстве" (М.И. Цветаева), но пожалел их. В тот момент, когда все чувства притуплены бесконечным горем и страхом, когда из всех целей осталась лишь месть, только поэзия и милосердие открывают глаза герою»<sup>66</sup>. Жалеет ли Гринев пугачевцев в данном месте романа? По-моему, как и везде в «Капитанской дочке», — нет! Но оценивает их захваченность песенным текстом, понимает ее истоки: они поют о себе. «Пиитический ужас», потрясший Петрушу, — это не сопереживание поющим и уж тем более не захваченность собственным милосердием к ним, а озарение, прозрение, пусть даже краткое, миг, когда внешне непредсказуемые события поражают своей неотвратимой предопределенностью, обреченностью, повторим вслед за М.И. Гиллельсоном и И.Б. Мушиной, «на трагический конец», добавив при этом, что «грандиозность, смелость и дерзость всего народного движения» ими в данном случае помянуты всуе.

Что же до другого участника этого эпизода, то он в изображении Т.А. Алпатовой попросту непонятен: «Поэтический мир печальной песни по-иному освещает душу и злодея-бунтовщика Пугачева. Пусть символически, но она останавливает его, не дает сместиться нравственным критериям и забыть о совершенном злодействе»<sup>67</sup>. К о м у не дает эта песня «забыть о совершенном злодействе»? Пугачеву? Но есть ли в романе хотя бы намек на то, что он расценивает собственные действия как злодейство? Не

Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. соч. С. 134.

Там же.

66 Ашатова Т.А. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Взаимодействие прозы и поэзии: Учебное пособие. М., 1993. С. 38.

67 там же.

злодейство это, по его мнению, а азартнейшее удалство: «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал?» И как (пусть даже символически) распеваемой бандитами песне удастся «остановить» их атамана, рассказ о злодеянии которого в «Капитанской дочке» только еще начат и далеко не окончен.

«Незванный гость», поименовал Гринев эту главу. А издатель снабдил ее эпиграфом, однозначно характеризующим того, кого имеет в виду Петр Андреич. «Незванный гость хуже татарина», — вынес в эпиграф издатель народную пословицу. И мы, читатели, понимаем, что поскольку Гринев оказался в гостях у Пугачева по приглашению последнего, постольку и *н е з в а н ы м* подобного гостя назвать нельзя. А вот самого Пугачева и его товарищей, пирующих в доме погубленной ими четы Мироновых, никто туда не звал. Как не звали Пугачева и в Белогорскую крепость, где он со своей шайкой повели себя действительно «хуже татарина», т.е. хуже наместника хана во времена татаро-монгольского ига. И Гринев, зафиксировав это в предыдущей главе, не только даст в главе VIII ужасающую картину разграбления и опустошения офицерских домов, но и сочтет необходимым обратить внимание читателей на «несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных», и на жуткую картину, которую увидел Гринев, подходя в сумерках к комендантскому дому, о которой мы только что говорили: «Виселица со своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом...»

А судьба Маши, которая в бреду и в горячке, никого не узнавая, лежала в доме отца Герасима и его жены, приютивших сироту? Попадья назвала Марью Ивановну своей племянницей, и присутствующий при этом ее разговоре с Пугачевым Швабрин не стал опровергать такую версию. Но Пугачев, объявивший в главе IX, что отпускает Петрушу в Оренбург, который собрался осадить со своим войском, оставляет Швабрина своим комендантом в Белогорской крепости, повергая этим Гринева в ужас: Марья Ивановна оказывалась в полной власти Швабрина!

Для главы IX, которую Гринев назвал «Разлука», издатель вынес в эпиграф, быть может, самые проникновенные во всей русской поэзии XVIII века строчки из стихотворения Михаила Матвеевича Хераскова, тоже названного «Разлука»:

Сладко было спознаваться Мне,  
прекрасная, с тобой; Грустно,  
грустно расставаться, Грустно,  
будто бы с душой.

Наверное, нелишне будет отметить, что на поэта Хераскова (особенно в молодости) повлияли стихи Сумарокова — издатель и в данном случае учитывает поэтические пристрастия Петра Андреича.

В самой главе простился Петруша со ставшей в одночасье сиротою в момент, когда она «лежала без памяти и в бреду». Именно «будто бы с душой» расставался Гринев с Марьей Ивановной, «которую почитал уже своей женою». Потому и в Оренбург он спешил не только по долгу службы, но «дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому способствовать». «Швабрин, — пишет Петр Андреич, — пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все». Конечно, насчет ненависти он ошибался. Иначе для чего бы Швабрин стал понуждать Марью Ивановну выйти за него замуж? Зачем бы хотел взять в жены ненавистного ему человека? Но ошибался в данном случае Гринев не слишком сильно. Мы уже говорили, что Марья Ивановна своим, так сказать, бытованием разжигала в Швабрине страсти. А о чувстве охваченного страстью человека сказать что-либо определенное трудно: у таких людей действительно от любви до ненависти — один шаг.

Во всяком случае, легко представить себе, что испытывал Петруша, читая в письме Марьи Ивановны, настигшем-таки его в Оренбурге: «Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович».

Мы уже говорили о том, как причудливо было доставлено это письмо Гриневу, который выехал на перестрелку с пугачевцами, погнался за казаком, но тот, дав себя догнать, поприветствовал Петрушу как старого своего знакомого, оказавшись Максимычем, казакским урядником Белогорской крепости, переметнувшимся вместе с другими казаками к Пугачеву при коменданте Миронове. «Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить», — сказал он о письме Марьи Ивановны Гриневу. И попадья позже подтвердила Петруше, что единственная крепостная девка Мироновых Палашка, преданная Марье Ивановне, «урядника заставляет плясать по своей дудке». Поэтому в надежде на Максимыча, кого Палашка сумеет понудить доставить письмо адресату, и присоветовала попадья Маше писать Гриневу. Но ни Палашка, ни попадья не знали, конечно, о полтине денег, которую вместе с лоша-

дью и шубой послал с Максимычем Пугачев Гриневу, когда тот покидал Белогорскую крепость, направляясь в Оренбург. Лошадь и шубу Максимыч Петруше доставил, а полтина, как и знакомство с Зуриным, сыграла роль все того же Петрушиного заячьего тулупа, доставшегося Пугачеву. Полтина, якобы потерянная Максимычем по дороге, была великодушно прощена уряднику, т.е. подарена ему Гриневым. Так что не одной только Палашке, но и явной симпатии Максимыча был обязан Петруша, которому было передано ужаснувшее его письмо от Марьи Ивановны.

Естественно, что, получив подобное страшное известие, Гринев бросился к оренбургскому губернатору Андрею Карловичу, умоляя того: «Прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость». Естественно также, что генерал категорически отказывает Петруше: «На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу». (Мы помним, что Пушкин, показав поначалу, как причудливо коверкает генерал, выходец из германских земель, русские слова, отказался после от подобной речевой искаженности, явно надеясь (мы и об этом говорили), что читатель о ней не забудет. А только что приведенная нами цитата свидетельствует, что он не просто на это надеется, но не прочь освежить читательскую память, показать оренбургского губернатора, пусть и не коверкающего русские слова, но остающегося немцем в стилистике собственной речи, который вместо привычного «большое» или «огромное» о расстоянии говорит «великое» и вместо «победить вас» — «получить над вами совершенную победу».)

Генерал, как пишет в начале той же главы X Гринев, не согласился с ним, прибывшим из Белогорской крепости и побуждавшим губернатора немедленно выслать войско «для освобождения бедных ее жителей». Да и никто из членов военного совета, созданного генералом, не согласился с этим предложением Гринева. Но думаю, что он назвал главу «Осада города» не только потому, что оказался в осажденном Пугачевым Оренбурге, но потому еще, что именно это обстоятельство отрезало его от жизнетворного для него источника — от того, что составляло смысл его существования. Несмотря на то что «ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наемниками», Гринев, как мы уже говорили, в этой войне продолжал свою со Швабриным дуэль — за Машу, за Марью Ивановну. И дуэль все более ожесточенную, потому что ни на минуту не оставлял своего желания пробиться к Маше в крепость, которой, по воле Пугачева, командовал Швабрин. Это, думается, прежде всего учел издатель,

выбрав для главы X эпиграф из того же Хераскова, из его «Россиады»:

Заняв леса и горы,  
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.  
За станом повелел соорудить раскат  
И, в нем перуны скрыв, в ночи привести под град.

Пушкин приводит стихи в своей редакции. У Хераскова они начинаются так: «Меж тем Российский царь, заняв луга и горы, / С вершины, как орел, бросал ко граду взоры». «Россиада» славилась Ивана Грозного, взявшего Казань. Так что пушкинская редакция логична: если Пугачев — самозванец, то вести о нем речь как о «российском царе» — значит подтверждать им же придуманную легенду. Это с одной стороны. А с другой — о Пугачеве ли говорит здесь автор? Ведь самозванец не мог бросать взоры на град «с вершины». Как раз наоборот: «Я увидел войско мятежников с высоты городской стены». Нет, ничего хорошего для себя Петруша не увидел. Он увидел, что численность пугачевского войска была огромна и что «при них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных». Однако все это никак не отменяло того обстоятельства, что взять город, стоящий на высоте и окруженный высоченными стенами, пугачевцам было очень непросто, хотя в перестрелках «перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных».

И все-таки из всех главных героев повествования только Гринев мог бросать взоры с вершины. Куда — на град? Именно! Ведь согласно В.И. Далю, град, город — это еще и, в частности, «крепость, крепостца, укрепленное стенами место внутри селения...» А раскат? Он, опять-таки по Далю, не только «помост под валом крепости для постановки пушки», но и «гонка, езда». Ну а что до перунов, до языковых следов этого языческого бога грома и молнии, то они в состоянии метафорически обозначать не только артиллерийские орудия, но и чувства, переполняющие человека.

Обратим внимание еще и на то, что некто в эпиграфе повелел действовать «в ночи», и уже точно получим указание на Петрушу, на мелькнувшую в его голове мысль в самом конце главы X и на его обещание рассказать читателю в следующей главе, в чем же эта мысль состояла.

Иными словами, уже эпиграф к главе X предсказывал, что отчаявшийся убедить генерала выволить из плена свою любимую Петр Андреич не усидит в осажденном Оренбурге, а, дождавшись сумерек, поскачет из города в Белогорскую крепость, чтобы не дать осуществиться зловещим планам Швабрина.

А что они именно зловещие, он прочитал в том же письме Марьи Ивановны, где она сообщает ему о том, что Швабрин принуждает ее выйти за него замуж: «Он обходится со мною очень жестоко и грозит, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Хардовой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель, заступитесь за меня, бедную».

Понятно, что в своих «семейственных записках» Гринев волен называть любые даты и любые имена и не объяснять читателю, что стоит за ними. Написать, например, об изуродованном пытками башкирце, что тот был одним из бунтовщиков, «наказанных в 1741 году». А что это был за бунт — не то что умалчивать, но не распространяться, полагая, что читателю и без него это известно.

Но Пушкин-то не просто издает чужие «семейственные записки». Он пишет роман, где ни одна даже самая малейшая деталь необъясненной оставаться не может.

Тем не менее та же помянутая Марьей Ивановной Лизавета Харлова, которая оказалась в лагере злодея, где с ней произошло нечто ужасное, в романе не появится. Однако одно только упоминание ее имени заставляет Гринева, понявшего, что на генерала надеяться нечего, действовать с максимальной скоростью по освобождению Марьи Ивановны из швабринского плена. Это с одной стороны. А с другой — получается, что никак не разъясненная в романе Лизавета Харлова оказывается неким шифром кода, понятного только любящим Петруше и Маше. Будь «Капитанская дочка» не завершена или не напечатана при жизни Пушкина, можно было бы по этой детали заподозрить, что он не закончил формирование своего романа или не успел тщательно выверить рукопись, чтобы она соответствовала окончательному замыслу. Но Пушкин его напечатал, да к тому же еще и в своем собственном журнале, показав этим, что замысел свой полностью оформил!

Ничего удивительного, если не упускать из виду, что пушкинскому роману предшествовала весьма скрупулезная работа поэта над «Историей Пугачева», которая под заголовком «История пугачевского бунта» была в двух частях опубликована в 1834 году (кстати, вторая часть, содержащая манифесты Екатерины, рапорты и письма ее подданных, свидетельства современников, до сих пор почему-то печатается в сокращении!). Трудно отделаться от убежденности, что эта историческая работа поэта связана с его

же художественной работой о том же времени. И не даст отделаться от этой убежденности та же Лизавета Харлова.

Написав две вещи на одном и том же материале, Пушкин как бы заставил их дополнять и объяснять друг друга. Да и не «как бы», а в самом деле заставил. Недаром так всполошился Петруша, прочитав письмо любимой. Он хорошо понимает, о чем идет речь. И читатель поймет это, если прочтет в «Истории Пугачева» о том, чем угрожает Марье Ивановне Швабрин: «Молодая Харлова имела несчастье привязать к себе самозванца. <...> Она встревожила подозрения ревнивых злодеев, и Пугачев, уступив их требованию, предал им свою наложницу. Харлова и семилетний брат ее были расстреляны. Раненные, они сползли друг с другом и обнялись. Тела их, брошенные в кусты, оставались долго в том же положении».

И изуродованный пытками в 1741 году башкирец объяснен в «Истории Пугачева» в том месте, где говорится о намерении Пугачева «бежать, оставя свою сволочь на произвол судьбы»: «Башкирцы подозревали его намерение и роптали. Ты взбунтовал нас, — говорили они, — и хочешь нас оставить, а там нас будут казнить, как казнили отцов наших». (Казни 1740-го году были у них в свежей памяти.)»

(Своеобразным дополнением к «Истории Пугачева» являются сохранившиеся в бумагах Пушкина его «Замечания о бунте», написанные для царя и переданные Николаю Бенкендорфом. Напечатанные после смерти поэта, они еще больше уточняют политические воззрения Пушкина, его отношение к Пугачеву и к действующему против самозванца екатерининскому войску. Уточняют и его отношение к тем или иным историческим событиям. К тем же казням в Башкирии в 1740—1741 годах, охарактеризованным Пушкиным как «невероятные»: «Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. "Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши". Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта». Один из них — тот самый башкирец в «Капитанской дочке», в ком «по страшным его приметам» («у него не было ни носа, ни ушей») капитан Миронов опознает «одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году». Обратите внимание: историк Пушкин цитирует документ, где физическое уродование людей названо прощением, но художник Пушкин устами своего героя говорит о том же как о наказании!)

Иными словами, «История Пугачева» — это фундамент, на котором стоит «Капитанская дочка», это пушкинский комментарий «семейственных записок» Гринева, разъясняющий все, что не



счел нужным прояснить Гринев<sup>68</sup>. Однако делать, подобно старому пушкинисту Н.И. Черняеву, вывод о том, что «"Капитанская дочка" — это поэтическая иллюстрация к "Истории пугачевского бунта"»<sup>69</sup>, на мой взгляд, опрометчиво. Конечно, пушкинский роман не иллюстрирует историю. У него своя художественная задача. В частности, показать, как Гринев сумел завоевать благорасположение Пугачева, не поступившись честью. Художественно исследовать их личные отношения. Но личное отношение Пушкина к Пугачеву, как нам уже приходилось здесь говорить, очень далеко от Петрушиного. Об этом и написана история Пугачева, где вор и самозванец запечатлен со своей шайкой во всей их ужасающей свирепости. «С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, накануне овдовевшая Харлова, приведена была к победителю, распорядившему казнию ее родителей» — вот при каких жутких обстоятельствах довелось Лизавете Хардовой познакомиться с Пугачевым, который, натешившись ею, отдал ее в руки сообщников, не пожалевших ни ее, ни даже ее семилетнего брата!

Так, еще не появившиеся вживе в Белогорской крепости, но уже вошедшие в записки Гринева пугачевцы совершают действия, суть которых раскрывает «История Пугачева». И если в романе о взятии Нижне-Озерной крепости, ссылаясь на священника отца Герасима, чей работник «сейчас оттуда воротился», сообщает Василиса Егоровна: «Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон», — если, как пишет Петруша, эта весть его «сильно поразила»: «Комендант Нижне-Озерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женой...», — то «История Пугачева» засвидетельствовала, как погиб этот молодой человек (муж Лизаветы Хардовой) и как была взята крепость пугачевцами:

«Харлов бежал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики за-

68 Я не думаю, что во всем прав В.О. Ключевский, который в своей речи 6 июня 1880 года, в день открытия памятника Пушкину, сказал: «"Капитанская дочка" была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в "Истории пугачевского бунта", которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману» (*Ключевский В.О. Сочинения*: В 8 т. М., 1956—1959. Т. 7. С. 147). Но относительно того, что «История Пугачева» может восприниматься как примечание к пушкинскому роману, я согласен.

69 Черняев Н.И. «Капитанская дочка» Пушкина: Историко-критический этюд. М., 1897. С. 54.

няли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый, он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу; перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бикбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта; но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бикбай, вошед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю».

Добавлю к этому, что Пушкин записывал и свидетельства очевидцев. В частности, отдельные фразы только что процитированного отрывка он сохранил такими, какими ему рассказывали. А уже после Пушкина ту же свидетельницу казни Харлова слушала некая москвичка, записавшая с ее слов: «Уж никого нам так жалко не было, как коменданта: предобрый был барин; все мы его любили, словно отца родного. Как его повесили, так мы и залились слезами все до единого, — куда только страх девался!»<sup>70</sup>

Это Петруша Гринев, весьма обязанный великодушию и даже покровительству Пугачева, мог, как мы уже говорили об этом, написать: «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня». Но издатель предваряет главу XI, названную Гриневым «Мятежная слобода», собственной мистификацией — отрывком из басни, которую якобы написал любимый поэт Гринева Сумароков и в которой очень знаменательно характеризует главного ее персонажа:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.  
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —  
Спросил он ласково.

Можно не сомневаться, что «вертеп» здесь означает разбойничий притон, каким изобразил эту мятежную слободу Гринев:

« — Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? ... У тебя-то откуда жалость взялась?

70 Майков Л. Пушкин: Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899. С. 428.

— Конечно... и я грешен, и эта рука... повинна в пролитой христианской крови».

Как следует из текста «Капитанской дочки», мятежная слобода располагалась в Берде. В «Истории Пугачева» Бердская слобода, где был лагерь самозванца, когда его войска осадили Оренбург, описана подробно. Находилась она «в семи верстах от Оренбурга», так что разъезды пугачевцев «не представляли тревожить город, нападать на фуражиров и держать гарнизон во всегдашнем опасении».

Недаром издатель записок Гринева назвал в эпиграфе к главе XI пугачевский лагерь «вертепом». И напрасно иные исследователи убеждены, что Пушкин употребил это слово в значении «пещера» (такое значение бытовало еще в XVIII веке). Что это не так, — убеждает нас «История Пугачева»:

«Бердская слобода была вертепом убийств и распутства. Лагерь полон был офицерских жен и дочерей, отданных на поругание разбойникам. Казни происходили каждый день. Овраги около Берды были завалены трупами расстрелянных, удушенных, четвертованных страдальцев. Шайки разбойников устремлялись во все стороны, пьянствуя по селениям, грабя казну и достояние дворян, но не касаясь крестьянской собственности».

А что до диалога двух пугачевцев, который мы только что цитировали, то, как и написал об этом Петр Андреич, его вели «беглый капрал Белобородов» и «Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников». «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Пушкинская «История Пугачева» полностью подтверждает это Петрушино свидетельство: «Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца», «разбойник Хлопуша, из-под кнута клейменный рукою палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был одним из любимцев Пугачева». И о «рваных ноздрях» Хлопуши напишет Гринев. И не зря именно он, Хлопуша, станет в романе укорять товарища: «Тебе бы все душить да резать». Потому что, как следует из «Истории Пугачева», не отличался свирепостью: «Хлопуша взял Ильинскую, на приступе заколов коменданта, поручика Лопатина; но пощадил офицеров и не разорил даже крепости».

Что и будет отмечено в «Капитанской дочке», где Хлопуша, отвечая Белобородову на его: «Да ты что за угодник?» — признавая, что и его, Хлопушина, рука в христианской крови, уточнит: «Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором».

Как видим, Хлопушина мягкость не преувеличивается: кистень да обух — традиционные разбойничьи орудия убийства. Но скорее всего потому и выступает романый Хлопуша против предложения Белобородова пытать и повесить Петрушу, что его прототип пощадил офицеров Ильинской крепости, чего не позволял себе в реальности даже сам Пугачев (мы помним, что он не прислушался к гарнизону, умолявшему самозванца пощадить коменданта Харлова!).

Впрочем, это обстоятельство несколько не меняет впечатления о пугачевском вертепе как о бандитском притоне.

Поэтому не стоит относиться серьезно к тому, что некогда Виктор Шкловский, обращая внимание читателей «Капитанской дочки» на льва в эпиграфе главы XI и на орла из «калмыцкой сказки», которую в этой главе рассказывает Гриневу Пугачев, многозначительно заметил: «Львы и орлы — символы царственной силы»<sup>71</sup>. Увы, как и многие литературоведы, Шкловский пытался поддержать легенду о добром, любовном и даже восхищенном отношении Пушкина к Пугачеву. И разумеется, попал впросак. Ибо о каком же царственном символе можно вести речь, если его олицетворяет глава воровского притона? А тот орел, который, по словам Пугачева, сказал ворону: «...чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью...»? На что получил абсолютно лишнюю его какого бы то ни было царского ореола характеристику от Гринева: «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину». Их царственность того же выдуманного происхождения, что и «царские знаки на своих грудях», какие показывал Пугачев невежественному и наивному народу в бане: «на одной двуглавый орел величиной с пятак, а на другой персону его», или подобна «дворцу» самозванца, как почти боголепно с подачи окружения Пугачева называли мужики его обитель: «Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе».

А главное, мимо чего прошел В. Шкловский, — это то, что ни Гринев, ни его издатель не верят в царственное происхождение Пугачева. Уже только это обстоятельство должно бы навести читателя на мысль, что царственная символика, связанная в романе с самозванцем, обманна.

<sup>71</sup> Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. М., 1955. С. 76.

## «...Как это вы с Пугачевым-то поладили! »

Каких только мер предосторожности не предпринял комендант Миронов, чтобы до поры до времени хранить в тайне известие о походе Пугачева. И все они не удались. Василиса Егоровна хитростью выманила тайну у Ивана Игнатьича, твердо пообещав держать язык за зубами. И, как пишет Гринев, «сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями». А уж через попадью грозная весть мигом распространилась по крепости: «Вскоре все заговорили о Пугачеве».

Акулина Памфиловна, жена отца Герасима, была существом столь же добрым, сколь и любопытным. Поэтому, делаясь страшными своими впечатлениями с Петрушей: «Бедный Иван Кузьмич! Кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?..» — не удержалась и высказала то, что занимало ее не меньше ужасных новостей: «Как это вас пощадил?» И поскольку ответа на свой вопрос она от Петруши не получила, постольку она снова приступила к Гриневу, когда тот появился в их доме, после того как с помощью Пугачева вырвал Марию Ивановну из швабринской темницы: «Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили! Как он это вас не уколошил?» «Полно, старуха, — передает Гринев, как прервал жену отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь». «Ври» — это старинное значение слова «говори», весьма уместное в устах священника<sup>72</sup>, который вот как заканчивает свое обращение к жене: «Несть спасения во многом глаголании». Он укоряет свою словоохотливую и любящую сплетничать попадью, но понятно, что ему тоже хотелось бы, чтобы Петруша пролил свет на добрые отношения, установившиеся между ним и Пугачевым, однако, в отличие от жены, он умеет скрывать свое любопытство.

Тем более что оба они — поп и попадья — знали, что спасенный Пугачевым от виселицы Гринев уехал из крепости в Оренбург, знали, что Петруша выезжал на перестрелки с пугачевцами. Именно попадья, как пишет Гринев (и мы уже обращали на это внимание), «присоветовала Марье Ивановне написать ко

Хотя не только в его устах звучит в пушкинском романе это слово. «Полно врать пустяки», — обращается к Ивану Игнатьичу Василиса Егоровна. «Врешь, Максимыч», — это опять же она. Правда, ее «врешь» (о Максимыче) — это уже «не то говоришь», «несешь чушь».

мне письмо». Но вопросы, которые она задает ему при встрече, показывают, что, «присоветовав», она вовсе не ожидала содействия Пугачева Петруше в освобождении Марьи Ивановны. Снова удивилась попадья тому, что Гриневу вообще сохранена жизнь. Что ж, Петруша рассказал спасителям Маши «вкратце свою историю».

А в самом деле. Почему Пугачев позволил Гриневу то, что не позволял никому? Потому что некогда, еще до восстания, повстречавшись с Петрушей, которого сумел вывести из бурной мглы к постоялому двору, он получил от него в награду стакан вина и заячий тулуп («Господи Владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголтелому»)? Да, это было Гриневу засчитано — спасло его от петли и даже вроде от выдачи на растерзание сообщникам, о чем Петруше говорил сам Пугачев, когда они вместе поехали вызывать Марию Ивановну в Белогорскую крепость.

И все же, думается, что на отношение Пугачева к Гриневу оказали влияние не столько Петрушины бесхитростные дары, сколько искренняя, нескрываемая симпатия, которой проникся Пугачев к Петруше.

Зародилась она действительно на постоялом дворе, где был выпит новым знакомым Гриневу стакан вина и напаян на себя заячий тулуп, который был ему явно не по росту: «Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали». Но проросла в экстремальной для Гриневу ситуации: избавленный от петли, он, как мы помним, был в тот же день позван к Пугачеву, посажен им за общий стол, за которым сообщники вместе со своим атаманом отмечали взятие Белогорской крепости, а после ухода гостей оставлен им для беседы «глаз на глаз».

Мы помним, как помилованного Пугачевым Петрушу поставили перед ним на колени и Пугачев протянул ему руку для поцелуя. «Но я, — рассказывает Гринев, — предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению». Понимая состояние своего барина, верный Савельич умоляет его: «Что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». В конце концов на помощь Петруше пришел сам Пугачев. Убрав руку, он сказал «с усмешкою»: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его».

Понял ли Пугачев истинные побуждения Гриневу? Оказывается, нет. Видимо, он решил, что, помиловав Петрушу, по квитался с ним, а дальнейшая судьба Гриневу зависит от самого Петруши, который, избежав петли, вполне мог и одуреть от радости. Поэтому и спрашивает его, оставшись с ним «глаз на глаз»: «Обещаешься ли служить мне с усердием?»

«Вопрос мошенника и его дерзость, — комментирует ситуацию Гринев, — показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться». И усмешка эта запросто могла стоять Петруше головы.

«Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».

Вот где выглядывает лицо того Пугачева, по знаку которого повесили Ивана Кузьмича и Ивана Игнатьича, — лицо не просто безжалостного убийцы и насильника, а предводителя убийц и насильников, каким он представлен в «Истории Пугачева».

«Я смутился, — свидетельствует Гринев. — Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа».

Согласитесь, что испытание чести Петруши достигло накала не меньшего, а может, даже большего («Я колебался», — свидетельствует сам Гринев), чем когда он стоял под виселицей. Но Петруша нашел в себе нравственные силы выдержать и это испытание, о чем вспоминает «с самодовольствием», т.е., по точному разъяснению Словаря языка Пушкина, с чувством самоудовлетворения: «Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостью человеческою. Я отвечал Пугачеву: "Слушай: скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный; ты сам увидел бы, что я лукавствую"».

Смягчает ли душу Пугачева доверительная интонация Гринева? Не сразу. Ведь недаром он задает Петруше вопрос, который оказался роковым для многих ответивших на него, присягавших императрице и оставшихся верными присяге: «Кто же я таков, по твоему разумению?» Благоразумие Гринева позволяет ему выйти без потерь из этой труднейшей ситуации: «Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку». «Пугачев, — свидетельствует Петруша, — взглянул на меня быстро. "Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро"».

Напряжение вроде бы снято, но, оказывается, не до конца. Потому что Пугачев продолжает: «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

А ведь это, помимо прочего, и ответ Гриневу на его: «Ты человек смысленный; ты сам увидел бы, что я лукавствую». «Ну и лукавствуй!» — как бы слышится в пугачевском: «Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай» И не зря Пугачев поминает Гришку Отрепьева, которому удалось не просто убедить народ, что он — спасшийся от рук убийц царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного, но и завладеть московским престолом. «Кто ни поп, тот батька!» Гришка поцарствовал, и я поцарствую! А ты (это уже Гриневу) держись меня: «Какое тебе дело до иного-прочего?»

То есть Пугачев говорит с Гриневым почти как с будущим соратником, к которому относится с симпатией, кому готов многое разрешать и кого готов щедро одаривать. Так что на долю Петруши выпадает сейчас опровергнуть идею подобного сора́тничества, которое в изложении Пугачева очень напоминает по смыслу и по сущности церемониал целования его руки в благодарность за спасение. Ясно, что тут уже никакое увертливое благоразумие Гриневу не поможет, что он должен проявить твердость, даже каменность духа, подтверждая функциональность в романе-мифе своего имени, данного ему Пушкиным: Петр, как уже было здесь сказано, в переводе с греческого «камень». И он проявляет такую каменность, почти повторяя слова, сказанные комендантом Мироновым и его верным поручиком Иваном Игнатьичем, за что оба были немедленно повешены: «Нет, — отвечал я с твердостью. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу» (почти, потому что комендант и поручик не были природными дворянами, но Пугачева это и не интересовало). Больше того! Слышит вопрос Пугачева: «...Так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?» — и:

«Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Бог тебе судья; а я сказал правду».

Можно только руками развести от удивления в ответ на то, как интерпретирует В.Г. Маранцман слова Гринева: «Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего». «Пугачев — весь воля, у Гринева ее нет...» — истолковывает смысл этих слов В. Г. Маранцман<sup>73</sup>, даже не задумываясь о том, какую железную волю нужно иметь, чтобы не лукавить, не юлить,

<sup>73</sup> Маранцман В.Г. Указ. соч. С. 241.

а прямо «не обещаться» Пугачеву против него не служить, объясняя это самозванцу тем, что «я присягал государыне императрице»! А какую другую волю, по мнению В.Г. Маранцмана, должен был проявить Гринев? Изменить присяге? Стать Швабриным?

Такая интерпретация не просто от невнимательного чтения пушкинского текста, а от полного ухода от него. Разве не показательна в романе реакция Гринева, увидевшего Швабрина на коленях перед Пугачевым: «В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака»? Для чего же ждать от Петра Андреича поступков, которые вызывают у него «презрение», на которые он сам взирает «с омерзением»? Да еще и вздыхать, не дождавшись: нет, дескать, у человека воли!

Помиловав Гринева, Пугачев должен был убедиться и в том, что его былой знакомый не одуревал от радости, избавившись от петли, когда не стал целовать ручку у своего спасителя. И что Петруша действительно предпочтет смерть подлому унижению.

Так что беседа с Гриневым «глаз на глаз» не только безмерно удивила Пугачева искренностью собеседника, но и заставила самозванца уважать Петрушу. В полном, кстати, соответствии с предсказаниями вещего сна Гринева, о котором он поведал в начале повествования: Гринев и во сне отказался целовать ручку мнимому родственнику — свирепому злодею, чем вызвал у того не приступ ярости, а приязнь к себе.

А кроме этих предсказаний миф в «Капитанской дочке» позволяет нам интерпретировать беседу Гринева с Пугачевым «глаз на глаз» как разговор Петра и Лжепетра (вспомним, что самозванец назвался именно Петром!). Настоящий Петр тверд и неуступчив в вопросах чести. Он ее рыцарь, рыцарь ее кодекса. Лжепетр покажет себя именно «лже» тем, что будет искать возможности обойти этот кодекс стороной — возможности не для себя: он его и не исповедует, но для истинного Петра.

Именно поэтому следует отвести от Гринева обвинение психологов Г.Г. Граник и Л.А. Концевой в том, что, согласившись принять помощь от Пугачева по освобождению Марьи Ивановны из швабринского плена, Петруша вступил в противоречие с офицерской честью и присягой. «Но Гриневым движет прежде всего его понимание долга мужчины перед женщиной», — пытаются оправдать его поступок Г.Г. Граник и Л.А. Концевая<sup>74</sup>. Оправдание сомнительное: из-за долга перед женщиной изменить присяге, поступиться офицерской честью?

<sup>74</sup> Граник Г.Г., Концевая Л.А. Указ. соч.

И не просто сомнительное. Оно неверно по сути, неверно с точки зрения текста «Капитанской дочки». Так что абсолютно прав философ В.Н. Касатонов в оценке этого эпизода: «Гринев нигде сознательно не поступает своей офицерской честью. Его щадят, ему дарят подарки и помогает освободить невесту Пугачев. Сам же Гринев не помогает самозванцу ничем, кроме помощи нравственной: в проникновенном и доброжелательном диалоге помочь услышать голос собственной совести. Щепетильность Пушкина в этом вопросе принципиальна. Да, жизнь глубже, чем та сфера, в которой действуют законы чести. Однако эта ее глубина отнюдь не отменяет этих законов в области их юрисдикции. Гринев остается лояльным законам чести...»<sup>75</sup>

Безусловно, поездка вместе с Пугачевым в Белогорскую крепость, воссоединение Гринева благодаря Пугачеву со своей невестой, имевшие поначалу трагические последствия для судьбы Петруши, а потом оказавшиеся для этой же судьбы невероятно благодатными, являются значимыми, ключевыми событиями в романе-мифе. Есть поэтому смысл продолжать углубляться в суть сложившихся отношений между Гриневым и самозванцем, Петром и Лжепетром.

Главу XII Гринев назвал «Сирота», и для ее эпитафии Пушкин переделал свадебную песню, которую выписал однажды для себя. Вот как она звучит на самом деле:

Много, много у сыра дуба Много  
ветвей и поветвей. Только нету у  
сыра дуба Золотые  
вершиночки: Много, много у  
княгини-души, Много роду,  
много племени, Только нету у  
княгини-души Нету ее родной  
матушки; Благословить есть кому,  
Снарядить некому.

Вынося эти строчки в эпитафию, издатель прежде всего заменил «дуб» «яблонькой». Потому, скорее всего, что яблоня — дерево плодоносящее, и народ в своих песнях гораздо чаще отождествлял ее, а не дуб с невестой. Но издатель поменял деревья не автоматически: он изменил и облик яблони по сравнению с дубом. Так, если у дуба в народной песне «много ветвей и поветвей» и соответственно по законам параллелизма у невесты в этой песне

<sup>75</sup> Касатонов В.Н. Указ. соч. С. 147.

«много роду, много племени», то отредактированные Пушкиным стихи говорят совсем о другом:

Как у нашей яблонки  
Ни верхушечки нет, ни отросточек;  
Как у нашей у княгинюшки  
Ни отца нету, ни матери.  
Снарядить-то ее некому,  
Благословить-то ее некому.

Парадокс этой главы заключается в том, что снарядить Марью Ивановну, т.е. выдать ей и ее жениху «пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему», и благословить ее на брак с Петрушей, выпало тому, кто зверски уничтожил ее родителей — сделал ее сиротой.

Но смысл эпиграфа, соотнесенный с реальным содержанием главы, состоит еще и в том, что Марья Ивановна беззащитна перед злодейством, полностью зависит от расположения духа убийцы ее отца и матери, который обычно, как запечатлела «История Пугачева», оказывался безжалостным и к дворянским детям. И храбрый, горячо ее любящий, готовый за нее отдать жизнь Петруша в данном случае опасно рискует, вовлекая Пугачева в союзники по вызволению любимой из крепости, возглавляемой Швабриным.

Конечно, вовлекает он Пугачева в союзники, потому что они с ним, как выразилась Акулина Памфиловна, «поладили», т.е. прониклись человеческой симпатией друг к другу. Но мы-то помним, как остерегал издатель нас, читателей, от излишнего благодушия по отношению к тому, кто «сроду... свиреп», помним, кем в фольклорной составляющей «Капитанской дочки» выступает Пугачев, поэтому не должны упускать и того обстоятельства, что чувства, которые испытывает к Гриневу казацкий вождь, могут видоизменяться в зависимости от обстановки.

Кажется, это понял и сам Гринев, услышав от пугачевского соратника (Белобородова) слова, обращенные к атаману: «Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать; а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость послан к нам от оренбургских командиров».

«Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною, — свидетельствует Петруша. — Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился». «В чьих руках» — разумеется, Гринев имеет в виду не одного только Пугачева, но и тех его сподвижников, которые и в самом деле с охотой отвели

бы плененного офицера «в приказную» («приказами» в XVIII веке назывались канцелярии, ясно, что в данном случае речь идет о следственно-полицейском управлении самозванца) и запалили бы там огоньку, т.е. подвергли бы его пыткам. Но и Пугачев, как пишет Петруша, «заметил мое смущение». «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Он пока что насмешничает. И его насмешка, по словам Гринева, «возвратила мне бодрость». Но вот — обращение Пугачева к Петруше: «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город». «Слава Богу, — отвечает на это Петруша, — все благополучно». И бывшее пугачевское благодушие, позволявшее самозванцу насмешничать, уже способно улетучиться: «Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!»

Гринев и сам свидетельствует, что правда в данном случае на стороне Пугачева и что он, Петруша, вынужден обманывать самозванца «по долгу присяги». Но ведь ни Пугачев, ни его грозные товарищи не обязаны входить в положение обманщика. Белобородов, например, попросту ухватился за гриневскую ложь, чтоб посоветовать своему атаману: «Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно».

Снова Гринев ходит по острию лезвия: «Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева». «Казалось» — потому что наверняка зафиксировать состояние самозванца Петруша здесь не может: в разговор вклинился Хлопуша, оспаривая Белобородова, их спор грозил перерасти в ссору и перерос бы, если б Пугачев, забыв о Гриневе, не занялся примирением своих соратников. Чем и воспользовался Гринев, отходя от очень опасной для него темы, заменяя ее другой, которая, по его расчету, должна была быть приятной Пугачеву: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы по дороге».

«Уловка моя удалась, — свидетельствует Петруша. — Пугачев развеселился. "Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?"»

А до этого захваченный пугачевцами, с которыми даже вступил в бой (лишь шапка спасла одного из них от гриневской сабли), он предстал перед самозванцем, чтобы, услышав от того: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?» свидетельствовать: «Мне показалось, что Провидение вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое на-

мерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают». И разъяснил самозванцу, что обижает сироту Швабрин, насильно желая жениться на ней.

По-моему, нельзя согласиться с Б.В. Томашевским, комментатором десятилетнего академического Собрания сочинений Пушкина, в том, что глава XI была переработана автором уже в белой рукописи «явно из стремления как можно больше удовлетворить требованиям цензуры»: «Сущность переработки в том, что по первоначальному замыслу Гринев сам, добровольно является к Пугачеву с просьбой о помощи»<sup>76</sup>. И удивительно, что Б.В. Томашевского в этом горячо поддержал Ю.М. Лотман:

«По белой рукописи главы, Гринев во время военных действий самовольно оставил свой пост и добровольно отправлялся в лагерь врага ("Я направил путь к Бердской слободе, пристанищу Пугачева" <...>), а не был насильно захвачен пугачевцами во время попытки пробиться в Белогорскую крепость. Это, бесспорно, преступление с точки зрения военного суда. <...> Показательно, что даже 60 лет спустя такой сюжет невозможно было надеяться провести сквозь цензуру. Однако именно он отражает подлинный замысел Пушкина, и лишь он полностью объясняет дальнейшее развитие событий. Представление о том, что все дело лишь в клевете Швабрина, снижает драматизм ситуации и сводит глубокую социально-этическую проблему к обычной коллизии чисто авантюрного плана»<sup>77</sup>.

Но если уничтоженный самим поэтом текст «отражает подлинный замысел Пушкина» и «полностью объясняет дальнейшее развитие событий», то, стало быть, окончательная редакция романа, которую напечатал Пушкин, этого не делает! Мыслимо ли такое? Правдоподобно ли, что из стремления «как можно больше удовлетворить требованиям цензуры», из понимания того, что нечего и думать «провести сквозь цензуру» строки, которые для его произведения являются едва ли не главными, разъясняющими подлинный замысел, Пушкин от них отказался, искалечив и даже изуродовав свой роман? Ведь в окончательном тексте «Капитанской дочки» Гринев не явился к самозванцу за помощью добровольно, а именно «захвачен пугачевцами во время попытки пробиться в Белогорскую крепость».

<sup>76</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Л., 1978. С. 537.

<sup>77</sup> Лотман Ю.М. Идеальная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 223.

Да и так ли уж страшна в данном случае была бы Пушкину цензура? Что могло ее категорически не устроить? То, что дворянин нарушил присягу? Но она не возражала против присутствия в пушкинском романе Швабрина, который, судя по специальному упоминанию в тексте о его «хорошей фамилии», породителем Гринева. А Швабрин не просто нарушил присягу, он ее растоптал, присоединившись к бунтовщикам!

Можно не сомневаться: оставь Пушкин Гринева, добровольно явившегося к Пугачеву за помощью, и цензура ничего не имела бы против. Ведь Следственная комиссия в романе, убежденная именно в такой версии, вынесла Петруше суровейший приговор, дав возможность императрице либо утвердить этот вердикт, либо изменить его. Екатерина, как мы помним, наказание смягчила из уважения не только к преклонным годам, но и к заслугам отца Гринева. К чему здесь придраться цензуре?

Но, как верно заметил Г.А. Лесскис, «не подлежит сомнению, что замысел "Капитанской дочки" изменился под влиянием и вследствие исторических разысканий и раздумий Пушкина в процессе работы над историей пугачевщины...»<sup>78</sup>. Хотя главный свой историософский принцип поэт сформулировал еще болдинской осенью 1830 года, когда писал оставшуюся в черновике рецензию на второй том «Истории русского народа» Николая Полевого. Мы помним, что в окончательном варианте «Капитанской дочки», оказавшись у Пугачева, Гринев уповает на Провидение. «Но Провидение не алгебра, — писал в рецензии на «Историю» Полевого Пушкин. — Ум ч<еловечески>й, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из одного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного орудия Провидения» (Т. 11. С. 127).

Мы уже писали о работе священника Вячеслава Резникова, много внимания уделившего отношению Провидения к пушкинскому герою. Рискнем предположить, что Пушкин потому и изменил в белой рукописи мотивацию появления Гринева в Бердской слободе, что выстраивал романную интригу как череду случайностей, сопровождавших Петрушину судьбу, которые всякий раз оказывались для нее благотворными<sup>79</sup>. Так и тут: случай

<sup>78</sup> Лесскис Г.А. Указ. соч. С. 458.

<sup>79</sup> Подробней о такой интриге в статье Г.В. Краснова «Реальность романтического. (Случай и случайность в "Капитанской дочке")», первоначально опубликованной в «Болдинских чтениях» (Н. Новгород. 1993. С. 22—39) и вошедшей в качестве главы в книгу: Краснов Г.В. Болдино. Пушкинские сюжеты. Н. Новгород. 2004. С. 108-121.

(мощное орудие Провидения), которому Гринев обязан тем, что поехал с Пугачевым в одной кибитке в Белогорскую крепость и с помощью самозванца вызволил из швабринской темницы Марью Ивановну, снимал с Петруши обвинение в нарушении офицерской присяги, снимал пятно, которое могло лечь на его безукоризненную доселе репутацию человека чести.

Можно ли вслед за Ю.М. Лотманом говорить здесь о «коллизии чисто авантюрного плана»? Разве что имея в виду то значение слова «авантюрный», которое современный четырехтомный Словарь русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой определяет как «богатый приключениями; приключенческий»? Правда, и в таком значении разговор о «чистом» (т.е. исключительно) авантюрном плане наметившейся коллизии будет неполным, учитывая ее разрешение не только между Швабриным и Гриневым, но и между Гриневым и его отцом, между Гриневым и императрицей.

Да и как можно не услышать явной (особенно поначалу) тревоги Гринева, которую он, направляясь с Пугачевым в Белогорскую крепость, не скрывает: не только воображает себе «минуту ... соединения» с Марьей Ивановной, но и думает «также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан»:

«Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызвался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...»

При таком понимании ситуации поехал бы добровольно Гринев к Пугачеву за помощью? Ясно, что подобная поездка в черновике романа всего лишь один из прикидочных вариантов развития событий, от которого Пушкин отказался не из страха перед цензурой, а потому что нашел детали поворота повествования, которые намного адекватнее, чем прежние, реализуют его авторский замысел.

«О чем, ваше благородие, изволил задуматься?» — прерывает, как вспоминает Гринев, его тревожные размышления Пугачев. «Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя».

«Что ж? — передает Гринев обращение к нему Пугачева. — Страшно тебе?»

За себя Петруша не боится. Он бесстрашен на протяжении всего романа: и когда дерется на дуэли со Швабриным, и когда вместе с другими немногочисленными защитниками Белогорской крепости пытается противостоять напавшим на нее, и когда ежедневно ездит в Оренбурге на перестрелки с пугачевцами, и когда, получив письмо от Маши, решает в одиночку пробиться в Белогорскую крепость, где комендантствует Швабрин («Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! — возмущен верный Савельич. — Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану»), и когда, обнаружив, что Савельич на своей хромой лошади отстал и окружен бандитами, не раздумывая бросается ему на помощь... Но мы-то помним, о чем он думает и чего опасается: вдруг Пугачев узнает, что Маша — дочь капитана Миронова. «Страшно тебе?» — спрашивает его Пугачев. Смертельно страшно представлять, что станется с Марьей Ивановной, если откроется истина: «Холод пробежал по моему телу, и волосы становились дыбом...»

Естественно, что Машино имя он не произнесет, что он полностью отнесет к себе этот вопрос Пугачева: «Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь». И такой ответ очень понравится Пугачеву:

« — И ты прав, ей-Богу, прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтобы Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп».

Но в мифе вопрос Пугачева: «Страшно тебе?» — явно переключается с тем, как успокаивал Гринева жестокий убийца, черный мужик в пророческом Петрушином сне. «Не бойсь, — ласково говорил он Петруше, — подойди под мое благословение...» И недаром именно «не бось, не бось» повторяют пугачевские палачи Гриневу, стоящему под виселицей с петлей на шее. «Может быть, и вправду желая меня ободрить», — комментировал их слова Петруша. «Наивно-очевидное пояснение, данное рассказчиком, только усиливает зловещий алогизм происходящего», — пишет по этому поводу Н.Н. Мазур<sup>80</sup>. С точки зрения реалистического повествования, очевидно, исследовательница права. Но с точки зрения мифа не права решительно: палачи и вправду желают ободрить Петрушу, дают понять ему, что лично для него ничего

80 Мазур Наталья. «Не бось, не бось»: о народном шиболете в «Капитанской дочке» // <http://www.njthenia.ru/document/532953/html>



зловещего не произойдет: напоминают ему о том самом сне, где Гринев хоть и не согласился подойти к Пугачеву под благословение, однако столкнулся с невероятной приязнью к себе Пугачева.

Отступив в сторону, отдадим должное остроумию Наталии Мазур, которая, следуя за немецким исследователем Пушкина Вольфом Шмидом, ищет в пушкинской прозе примеры так называемой «нарративной криптограммы», которая составлена из провербиального (т.е. вошедшего в пословицы) материала и даже имеет отношение к сюжету произведения. Такую нарративную криптограмму (нарративный — от лат. *narro* — рассказываю) Н.Н. Мазур видит в пословице «Авоська веревку вьет, небоська петлю на(за)кидывает», реализованной, по ее мнению, в тексте «Капитанской дочки». «...Пословица, — пишет Н.Н. Мазур, — не дана эксплицитно в тексте (т.е. она там не явно, не четко выражена. — Г.К.), но выявляется на уровне образа: *небоська* — человек, произносящий слово *не бось*, действительно накидывает петлю. В сцене казни реализован буквальный смысл второй части пословицы, переносный же смысл (собственно провербиальная мудрость) может быть прочитан в развертывании той сюжетной линии, развязкой которой и стало "закидывание петли"»<sup>81</sup>.

Вот как она это доказывает: из четырех человек в Белогорской крепости, которых приказывал казнить Пугачев, выжил один Гринев. И надо же! — именно Петруша не отнесся пренебрежительно к известию о появлении Пугачева. Остальные не просто отмахиваются от такого известия, а демонстрируют свое пренебрежение как раз «с помощью *небось* и *авось*»<sup>82</sup>.

Капитан Миронов: «Небось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять уgomоню».

Иван Игнатьич: «Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!»

Василиса Егоровна: «Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!»

«Таким образом, — комментирует эти высказывания Н.Н. Мазур, — целостный смысл пословицы проявляется на сюжетном уровне, где он мотивирует и поведение героев, и их судьбу: погибают те персонажи, которые принимают заключенные в пословице "правила игры". Спасшийся Гринев — единственный, кто пытается противостоять общей фаталистической установке (ср. его предложение увезти из крепости семью коменданта)»<sup>83</sup>.

<sup>81</sup> Там же.

<sup>82</sup> Там же.

<sup>83</sup> Там же.

Убедительно? Скорее, занимательно. Или. как уже было сказано, остроумно: подмечена некая изощренная тонкость в пушкинском тексте.

«Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки» (Т. 11. С. 55) — эти пушкинские слова лучшим образом свидетельствуют о том, как относился поэт к изощренности.

Он говорил не о х у д о ж е с т в е н н о й изощренности, не об игре в искусство? Продолжим пушкинскую цитату: «Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным» (Т. 11. С. 55—56).

Нам приходилось уже цитировать прекрасного ученого, знатока быта эпохи XVIII и XIX столетий В.В. Похлебкина, который на основании кулинарных пристрастий персонажей «Капитанской дочки» относил их к разным социальным группам. Цитаты, подобранные Н.Н. Мазур, тоже свидетельствуют об особенности каждой из таких групп: каждая говорит в романе Пушкина присущим только ей языком. Ведь очевидно, что модальные «небось» и «авось», в которые всматривается исследовательница, характеризуют речь русского простолюдина, каковым Гринев не является. Да и Н.Н. Мазур, которая в примечаниях к статье цитирует императрицу, высказывающуюся о своей собачке: «Не бойтесь, она не укусит». — должно быть, была бы удивлена, услышав от Екатерины «небось»! А услышать «небось» или «авось» от «мужицкого царя» Пугачева вовсе не странно.

Иное дело — замечание Н.Н. Мазур о том, что «иносказание вожатого *Заткни топор за спину, лесничий ходит...* немедленно связывает с реальностью виденного во сне "страшного мужика", выхватывающего топор из-за спины..."<sup>84</sup>. Оно верно по своей сути, хотя и его называть криптограммой, как это снова делает Н.Н. Мазур, по-моему, не стоит.

А иначе может оказаться, что Пушкин то и дело зашифровывал в своем тексте нарративные криптограммы. Например, сперва заставил Савельича писать старому барину о проступке молодого: «Конь и о четырех ногах, да спотыкается...» — а потом посадил того же Савельича на хромого лошадь, из-за чего их с Гриневым и захватили пугачевцы.

Но!., «тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным».

<sup>84</sup> Там же.

В том-то и дело, что несвойственно было Пушкину выступать шифровальщиком в собственных произведениях и не имеют подобные изощренные криптограммы отношение к его замыслу!

А вот к мифу «Капитанской дочки» и пословица Савельича, и неудачная его поездка на хромой лошади имеют самое прямое отношение. Ведь Савельич — это патроним, т.е. отчество, по которому его называет Гринев. Имя же Савельича Архип — «кучер» в переводе с греческого.

А еще точнее Архип — имя, составленное из двух греческих слов: «archo» — «повелевать» и «hippos» — «лошадь». «Лошадь» заставляет вспомнить о первом занятии крепостного Гриневых Савельича до того, как он был пожалован в дядьки молодому барчуку, т.е. приставлен к нему для ухода и надзора. Поначалу Савельич был «стреманным», в чьи обязанности, как разъясняет В.И. Даль, входило принимать от верхового («вершника») лошадь, подавать ему стремя и безотлучно находиться возле своего господина во время псовой охоты. Вот почему не только русской грамоте выучился от Савельича Петруша, но «и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля». А глагол «повелевать», входящий в имя Петрушиного дядьки, многое объясняет в характере Савельича. И его твердость, с какой этот, как некогда выразился о нем Гринев, цитируя чужой текст, «и денег, и белья, и дел моих рачитель» будет стоять на страже барского имущества, не позволяя транжирить его самому барчуку. И его беззаветную храбрость, с какой он всякий раз бросается на помощь своему питомцу, пренебрегая любой опасностью для себя. И сильно развитое в нем чувство достоинства, особенно явленное в его отповеди старому барину, разгневанному, что утаил Савельич от него дуэль Петруши со Швабриным, и написавшему по этому поводу своему слуге: «Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче... <...> Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку». «...Я не старый пес, — отвечал на это Савельич, — а верный ваш слуга ..... Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испугать понапрасну... <...> И извольте вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. Засим кланяюсь рабски».

Но в «Капитанской дочке» Гринев зовет своего дядьку, своего слугу не по имени, а по отчеству, причем с суффиксом на *-ич*. Считается, что подобным отчеством назывался слуга, отличившийся при своих господах. Ю.М. Лотман, например, писал, что со времени Петра I суффикс *-ич* в отчестве купца или крестьянина означал «большую социальную честь», нежели, допустим,

отчество Савельев (как подписался гриневский слуга в письме к своему барину)<sup>85</sup>.

Возможно, конечно, что Пушкин имел в виду и такой оттенок именования Петрушиного дядьки. Но, как верно заметила Е.Ю. Полтавец, отчество в пушкинском романе является «особенно частотным»: «оно имеется у всех персонажей первого плана». Даже Пугачев и Хлопуша «в момент наиболее душевного общения», замечает Е.Ю. Полтавец, называют друзей: «Тимофеич», «Наумыч». А что для Гринева Швабрин не Алексей Иванович, а только Швабрин, то Е.Ю. Полтавец вряд ли права, усматривая в этом знак того, что тот в Петрушином сознании «равен самозванцу Пугачеву»<sup>86</sup>. Нет, скорее всего это знак недружественности, отстраненной холодности. Особенно если учесть, как отдален сейчас по времени рассказчик от событий, о которых вспоминает. «С А.И. Швабриным, — пишет Гринев, — разумеется, виделся я каждый день...», не произнося имени и отчества своего будущего соперника и врага, но сухо обозначая их инициалами.

Савельич же для Гринева именно и только Савельич: очень значимый в мифе патроним. Ведь Савелий по-древнееврейски «выпрошенный у Бога». Вот чьим сыном является Петрушин дядька. И вот чьим заветам, вне всякого сомнения, следует.

Бог дал Гриневу не только прекрасных родителей, не только высоконравственную подругу жизни, но и преданнейшего спутника-опекуна. В литературе о «Капитанской дочке» мы нередко встретим уподобление этой пары Гринев — Савельич другой и тоже из великого романа: Дон-Кихот — Санчо Панса («чистый пушкинский парафраз сервантесовских Дон-Кихота и Санчо Пансы», — пишет, к примеру, В.Н. Касатонов<sup>87</sup>). Не отрицая резонности подобного уподобления, все-таки скажу, что Петрушин слуга проявляет намного больше любви к своему господину вплоть до готовности жертвовать собою во имя него («Что тебе в смерти барского дитяти? — говорил Савельич Пугачеву. — Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!»); «Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком пойду за тобой, а тебя не покину, — это уже Петруше в ответ на его безумную идею: в одиночку пробиться в Белогорскую крепость, чтобы вырвать Марию Ивановну из

85 См.: Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб., 2003. С. 415.

86 Полтавец Елена. «Незванные гости» и самозванцы в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина. С. 40.

87 Касатонов В.Н. Указ. соч. С. 129.

швабринского плена. — Чтоб я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел?»).

Однако вернемся к Пугачеву, который спросил у Гринева, о чем тот задумался, и, услышав, что думал Гринев о странных превратностях судьбы, заставившей его зависеть от того, против кого он вчера еще воевал, поинтересовался: «Что ж? Страшно тебе?»

«Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь».

Не эта ли фраза Гринева, которую мы уже здесь цитировали, заставила Ю.М. Лотмана утверждать, что только намеренный и осмысленный приезд Петруши к Пугачеву, как это было в рукописи, «отражает подлинный замысел Пушкина, и лишь он полностью объясняет дальнейшее развитие событий»? Мы комментировали в нашей работе это высказывание ученого, с которым не соглашались. Сейчас добавим, что только что процитированный ответ Петруши на пугачевское «страшно тебе?» не является рудиментом прежнего замысла, а последовательно развивает тот, который осуществлен в романе. Схваченный пугачевцами, представший перед их атаманом, вопрошавшим его: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?» — Гринев (снова процитируем это) свидетельствует о внезапном озарении:

«Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что Провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться...»

«Им» — т.е. случаем. А случай по Пушкину, как мы помним, «мощное орудие Провидения»! Оно сработало, что подтвердил Петруше и сам Пугачев: «И ты прав, ей-Богу, прав!»

## Милость или правосудие?

Гринев, повторимся, рискует очень опасно. Он не зря боялся за Марию Ивановну, которая для Пугачева «племянница здешнего попа». Случилось именно то, чего Гринев боялся больше всего: Швабрин открыл Пугачеву истину. Но, как разъясняла в свое время тому же Швабрину Василиса Егоровна, «разве муж и жена не один дух и единая плоть?» И Гринев не отделяет себя от Маши, о чем он ей в этот же день и говорит: «Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Поэтому «не бойсь!», сказанное Петруше черным мужиком, которого Гринев увидит в своем пророческом сне, и ставшее гриневским амулетом в мифе, сбережет ему и Марию Ивановну.

Но в реальном повествовании известие, что «она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости», Пугачев воспримет с предгрозовым недоумением. «Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось». И снова сработало «мощное орудие Провидения»: Петруша нашелся и на этот раз: «Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!» Чем чрезвычайно развеселил Пугачева: «И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их». Будем надеяться, что его развеселила попадья, выдавшая Марию Ивановну за свою племянницу, хотя не исключаем, что Пугачев мог засмеяться и представив себе, что могли сделать с «бедной девушкой» «мои пьяницы». Как подчеркивал издатель в своем стихотворном эпиграфе о льве, «сроду он свиреп»!

Ведь совсем не случайно, что Пугачев рассказывает Гриневу калмыцкую сказку именно «с каким-то диким вдохновением». В контексте этого эпизода слово «дикий» обретает двойное значение: одержимость, замороженность смыслом сказки для Пугачева и дикость этого смысла для Гринева.

«Вот завидели палую лошадь; спустились и сели, — говорит Пугачев. — Ворон стал клевать да похваливать. Орел клонул раз, клонул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!»

«Эта притча, — отзывается о сказке В.Н. Касатонов, — есть как бы символ веры Пугачева, тот образ, та интуиция, которая не только выражает его позицию, но и сама служит источником, питающим и направляющим всю динамику "самовыражения" пугачевской авантюры. Эта притча у Пушкина явно подается как некий религиозный символ, и, согласно диалектике последнего, можно сказать, что сам Пугачев — в измерении своего самозванства — оказывается как бы образом этой притчи»<sup>88</sup>.

«Затейлива, — отзывается о ней Гринев. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину».

Это не просто «сильный удар по позиции Пугачева», как считает В.Н. Касатонов. Это совершенно другой «символ веры», другое понятие о жизни, о ее смысле, о ее нравственности. Поэтому и невозможно согласиться с В.Н. Касатовым в том, что Гриневым «высказано было нечто, в чем Пугачев боялся признать себе сам...»<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Там же. С. 136.

<sup>89</sup> Там же. С. 137.

«В безвыходных положениях, — пишут о Гриневе И.З. Сурат и С.Г. Бочаров, — он умеет прорвать круг и обратиться к внутреннему человеку в разбойнике»<sup>90</sup>. Правота в этом, конечно, есть. Но как ничтожно мало этого «внутреннего человека» в разбойнике! И поэтому куда больше правоты в напоминании (мы его уже однажды цитировали) В.Б. Шкловского о сказочном, мифологическом помощном звере, который помогает одному, но остается зверем для всех других.

Вспомним, что в ответ на пугачевское: «Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья», — Гринев «вспомнил взятие Белогорской крепости», т.е. сопоставил собственные впечатления с тем, что говорит о Пугачеве дворянская братия. Меньшим кровопийцей или вовсе не кровопийцей Пугачев Гриневу не показался, о чем Петруша свидетельствует постоянно, называя его «ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня». О чем, кстати, свидетельствует и сам Пушкин, взявший на себя роль издателя записок Гринева и добавивший к ним свое издательское сообщение о судьбе Гринева: «Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу». Вот так! Только Петруше и кивнул. Остальным — нет. Остальные жаждут справедливого возмездия за преступления, и эта их жажда будет удовлетворена: им показали мертвую и окровавленную голову того, кто умертвил и окровавил бесчисленное количество народу. Пугачев благоволил к Гриневу, и тот ему благодарен за это и даже мечтает «вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время», понимая вместе с тем, что такие мечты неосуществимы.

«Гринев — не проявленная, смутная совесть самозванца», — заключил в своей в целом очень добротной работе А.И. Зорин<sup>91</sup>. Боюсь, что слово «совесть» к такому человеку, как Пугачев, попросту неприменима. Ни Пушкин, ни действующий от его имени Гринев не выводят в образе Пугачева добродетельного разбойника типа Дубровского или героев Вальтера Скотта. Действительно, Пушкин в своей «Истории» назвал Пугачева «славным мятежником», а царь, как и пишет А.И. Зорин, «зачеркнул этот дерзкий,

по его разумению, эпитет»<sup>92</sup>. Но «славный» у Пушкина далеко не всегда замечательный. Чаще это известный человек, о котором гуляет слава, добрая или худая. Царь не стал вникать в особенности пушкинского словаря, но мы все-таки вникнем, чтобы понять, что ничего замечательного Пушкин в Пугачеве не находил.

Понимаю, как трудно принять эту версию. Особенно после работы Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачев», которая иступленно и страстно настаивала на влюбленности Пушкина в Пугачева. Работы, по-своему логичной (именно по-своему: недаром книга, в которую она включена, называется «М о й Пушкин!»), опирающейся не на текст «Капитанской дочки», а на собственные представления об отношениях героев романа друг к другу, автора к своим героям. Субъективизм М.И. Цветаевой несомненен, но также несомненно ее художническое дарование, выразившееся в прозе о Пушкине. Неудивительно, что многие, покоренные ее даром, прониклись ее концепцией, не задумываясь над тем, что к собственно литературоведению, к пушкиноведению работа Цветаевой отношения не имеет, — скорее, к художественной литературе.

Но как же, скажут, Пушкин не находил в Пугачеве ничего замечательного? Разве отношение Пугачева к Гриневу не говорит о том, что было, по мнению Пушкина, в характере самозванца и нечто человеческое?

Не говорит! Злодей для всех, кроме меня одного, как охарактеризовал его Гринев, демонстрирует только, что и у деспотов, и у тиранов, и у отпетых негодяев могут быть свои любимчики. Об одном из них, кстати, Пушкин написал в «Истории Пугачева»: «Пугачев в начале своего бунта взял к себе в писаря сержанта Кармицкого, простив его под самой виселицей. Кармицкий сделался вскоре его любимцем. Яицкие казаки, при взятии Татищевой, удавили его и бросили с камнем на шею в воду. Пугачев о нем осведомился. "Он пошел, — отвечали ему, — к своей матушке вниз по Яику". Пугачев, молча, махнул рукой». Пушкин объясняет, что убили казаки пугачевского любимца из боязни, что тот может оказывать влияние на их атамана. Но показательно и реакция Пугачева на известие об убийстве Кармицкого. Никакого проявления человечности. Даже ее проблеска!

Разумеется, в «Капитанской дочке» отношение Пугачева к своему любимцу описано несколько по-другому: «Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал

<sup>90</sup> Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 176.

<sup>91</sup> Зорин Александр. Выход из лабиринта. М., 2005. С. 403.

<sup>92</sup> Там же. С. 404.

на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился...» В «Капитанской дочке» очевидная симпатия Пугачева к Гриневу основана еще и на уважении к Петрушиной твердости, к Петрушиному бесстрашию, ко всему, что в мифе демонстрирует Гринев в соответствии со своим именем. Потому и возможна между ними душевная, почти дружеская беседа:

«— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие. "Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енералов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?"

Хвастливость разбойника показалась мне забавна. "Сам как ты думаешь? — сказал я ему. — Управился ли бы ты с Фридриком?"

— С Федором Федоровичем? А как же нет? С вашими енералами ведь я же управляюсь; а они его бивали».

Пугачев действительно в ноябре 1773 года нанес поражение правительственным войскам генерала Кара под деревней Юзеево. Но, судя по пушкинскому описанию сражения в «Истории Пугачева», самозванец, сильно преувеличивая правительственные потери, безудержно хвастает.

Не знающий подлинной цены победы пугачевцев, Гринев тем не менее улавливает хвастливую интонацию их предводителя, которая забавляет Петрушу. И особенно когда разговор касается гипотетической возможности для Пугачева сразиться с одной из лучших в Европе армией прусского короля Фридриха II (Фридриха, как называли его в XVIII столетии) Великого, выдающегося полководца, победившего во всех трех так называемых Силезских войнах.

Да, правда, в 1759 году в сражении при Кунерсдорфе (эпизод Семилетней или, как ее еще именуют, Третьей Силезской войны) Фридрих потерпел поражение от армии, которой командовал генерал-аншеф П.С. Салтыков. Но это был единственный русский генерал, сумевший од н а ж д ы одолеть самого Фридриха. (Справедливости ради следует упомянуть о другой победе русской армии под командованием генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина в Гросс-Эгерсдорфской битве 1757 года. Но Фридрих в это время воевал в Саксонии и Богемии. Прусской армией командовал фельдмаршал Левальд. К тому же и потерь убитыми и ранеными у пруссаков в этой битве оказалось чуть не в два раза меньше.

чем у русских. И это, вполне возможно, предопределило нерешительность Апраксина, который не только не воспользовался плодами победы, но настоял на отступлении войск в Россию.) Так что пугачевское «бивали» и «ваших», т.е. бывших елизаветинских, а теперь екатерининских, «енералов» — опять-таки преувеличение.

Но не в пугачевских преувеличениях дело, а в дружелюбном тоне, который поддерживают оба собеседника. Он даже шутлив, особенно со стороны Пугачева, комически переименовавшего пруссака Фридриха (Фридриха) в русского Федора Федоровича — показавшего, впрочем, самим этим именованием по имени и отчеству, что знает, как звали отца прусского короля, — тоже Фридрих. Правда, подобным комикованием отличается именно реалистическое повествование пушкинского романа. Но мы-то с вами помним, что одновременно он еще и миф. А в мифе вопрос Гринев: «Управился ли бы ты с Фридриком?» — значит: одолел бы ты могущественного? — именно так переводится с древнегерманского имя короля Пруссии. Подменяя его на Федора Федоровича, Пугачев снова заявляет о себе как о Лжепетре: Федор по-гречески «Божий дар». А это значит, что, отказываясь тягаться с могущественным, Емельян готов схватиться с одаренным от Бога. Такая одаренность его не остановит. Не остановился же он перед тем, чтобы умертвить капитана Миронова и верного его поручика, олицетворявших милость Божью. Он человек нерелигиозный, Бога не боится. Его набожность, которую при случае он готов продемонстрировать толпе, — показная — того же сорта, что и его царственная величественность.

«Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. <...> Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы».

«Вот место священника в русской истории: молча, с крестом в руках», — комментирует этот пушкинский текст А.И. Зорин. И с той же абсолютной достоверностью продолжает: «Крест разбойникам не помеха, а проповедь отсутствует изначально. Атаман объявляет священнику, что будет обедать у него. Род духовной поддержки, коей надобно заручиться прилюдно и показать свое расположение к Богу.

Церковь в услужении разбойничьей власти (многие попы переметнулись к самозванцу)...»<sup>93</sup>.

Да, так оно и было. «Духовенство ему (Пугачеву. -- Г.К.) доброжелательствовало, — записывает Пушкин в "Замечаниях о

<sup>93</sup> Там же. С. 400-401.

бунте", — не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи». Правда, подобное доброжелательство не спасало многие церковные храмы от разграбления. Вот весьма выразительная выдержка из документа, который цитирует Пушкин в примечаниях к «Истории Пугачева» (речь идет о злодеяниях пугачевцев в Казани): «Ворвавшись они в город и входя во храмы Божий в шапках, с оружием, грабили и выгоняли укрывающихся тамо людей. А именно: В Казанском Богородицком соборе, во Владимирском соборе, в церкви Московских Чудотворцев, в церкви Николая Чудотворца, именуемого Тольского, в церкви Николая Чудотворца, именуемого Низкого, в церкви Живоначальныя Троицы, в церкви Воскресения Христова, в церкви Варлаамия Хутын-ского...» Впрочем, если бы мы задались целью воспроизвести список одних только казанских храмов, где бесчинствовали злодеи, который приводит Пушкин, мы сильно бы увеличили объем нашей книги. А ведь документ, который Пушкин цитирует, зафиксировал действия самозванца и его сообщников во многих других церквях в других городах и деревнях. И везде они вели себя как нехристи, как нелюди.

Об этом не следует забывать, вслушиваясь в беседу Пугачева с Гриневым, едущим в кибитке в Белогорскую крепость. Их беседа была настолько непринужденной, что Гринев смог позволить себе неслыханную дерзость — спросил атамана разбойников: «Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно да прибегнуть к милосердию государыни?» И Пугачев нисколько не осерчал на это, но лишь «горько усмехнулся»: «Нет, — отвечал он; — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать, как начат».

Захваченные доверительным тоном их беседы, некоторые исследователи пишут о друзьях-врагах, какими они, Пугачев и Гринев, себя якобы ощущают. А некоторые идут еще дальше. К примеру, не раз упоминавшийся уже здесь В.Н. Касатонов:

«Мы видим вдруг, что в отношениях Пугачева и Гринева смешиваются все устоявшиеся понятия. Офицер и дворянин сотрудничает с бунтовщиком и самозванцем. Враги, воюющие не на шутку, а на уничтожение, вдруг становятся друзьями, и один надеется не просто "на пощаду, но даже на помощь" другого. Все социальные институты, все непримиримые социальные противоречия, сама история вдруг как бы отменяются! Пожарище крестьянской войны, беспощадно заглатывающее каждый день сотни и сотни жизней, — "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", по слову самого Пушкина, — как будто и не касается совсем наших героев, которые, на самом деле, суть явные и сознательные участники этой национальной распри. Что происходит? Как на-

звать это? Может быть, наиболее адекватное имя этому — имя, апеллирующее к евангельскому образу, — хождению по водам. Как при хождении по водам, которое демонстрировал — и которому учил! — Христос, преодолеваются физические законы мира, так и здесь, в странной истории отношений офицера Гринева и самозванца Пугачева, рассказанной Пушкиным, отменяются законы социальные, законы разделения и вражды. И герои то несмело, то с ликующей детской радостью, как апостол Петр в Евангелии, учатся ходить по бурному морю истории...»<sup>94</sup>. (Удивительно, что В.Н. Касатонов не замечает буквального совпадения его метафоры с пушкинской, помещенной в другой контекст. Забыл текст «Капитанской дочки»? Забыл, что писал Петруша о своих ощущениях в кибитке, которую тащили лошади в бурной мгле, переваливаясь из сугроба в сугроб: «Это похоже было на плавание судна по бурному морю»?)

Кстати, эта касатоновская цитата объясняет помимо прочего, почему работа, откуда она взята, называется «Хождение по водам».

Но как не выражает такое заглавие смысла того, что происходит в «Капитанской дочке», так и приведенная нами цитата весьма далека от текста пушкинского романа. Ибо о каком сотрудничестве офицера и дворянина с бунтовщиком и самозванцем может идти в нем речь? И о какой отмене социальных противоречий между ними? Разве не показательно «омерзение», с каким, как пишет Гринев, «глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака»? Не ясно разве, что ему омерзителен сейчас не лично Швабрин, а «д в о р я н и н», валяющийся в ногах Пугачева — «б е г л о г о к а з а к а»? Что именно это обстоятельство рождает чувство презрения, заглушающее в данный момент в Петруше все другие чувства, которые он испытывает к Швабрину? Ничто, стало быть, не может отменить Петрушино понятие о чести как не только о моральной, но и о сословной, социальной категории. (Вспомним не меньшего храбреца, чем Гринев, Савельича со своим понятием о чести, присущим другому социальному слою общества, которое вполне допускает лукавство и каверзу: «Не упрямыся! Что тебе стоит? плюнь да поцелуй...»)

И чем отношения Пугачева и Гринева напоминают евангельскую притчу о хождении по водам? Не помянута ли она В.Н. Касатоновым всеу? А похоже на это! «И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.

<sup>94</sup> Касатонов В.Н. Указ. соч. С. 135.

А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался. И, начав утопать, закричал: Господи! Спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержат его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф., 14, 23—31). Где в этом евангельском тексте «ликующая детская радость» Петра? И как соответствует этот текст из Евангелия тому, что происходит в романе между Пугачевым и Гриневым? По-моему, никак! — на маловерии, на недостаточной вере кого-либо из этих героев Пушкин ни своего, ни нашего внимания не останавливал: он писал не об этом!

И не о друзьях-врагах, как думают многие, анализировавшие отношения Пугачева и Гринева. Искры человечности, которые сумел зажечь в темной душе Пугачева Гринев, постепенно просветляют эту смурную душу. Но оттаивает Пугачев только в отношении Гринева. Хотя и в общении с ним сохраняет свою постоянную настороженность.

Казалось бы, как должна была поспособствовать их совместная поездка в кибитке из Бердска в Белогорскую крепость их душевному сближению! Ведь откровенный, по душам разговор в силах растопить лед подозрительности одного собеседника к другому. И обычно подобный лед тает.

Но вот назначенный Пугачевым комендантом крепости Швабрин открывает самозванцу подлинное имя своей пленницы. Цели предательство Швабрина не достигло, хотя на минуту ситуация сразу стала предгрозовой и очень опасной для Марьи Ивановны. И хотя, как мы уже отмечали, Петруше удалось разрядить обстановку, об этой минуте забывать не следует: друг так себя не ведет, а враг так легко бы не успокоился.

Другое дело, что, успокоившись, Пугачев по-прежнему великодушно ведет себя с Гриневым: соглашается отпустить того с Марьей Ивановной, куда им «Бог путь укажет». А Швабрина, не отдавая себе отчета в этом, унижает еще раз, приказывая, как пишет Петр Андреич, «выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему» Пугачеву.

Его пропуск чуть не погубил Петрушу, чьи лошади въехали в городок, о котором Гриневу было со слов пугачевцев известно, что там находится «сильный отряд, идущий на соединение к

самозванцу. В городок Петруша с Марьей Ивановной и с верным Савельичем въехали в главе XIII, названной Гриневым «Арест». А Пушкин снова продемонстрировал свое изумительное искусство стилизации — на этот раз под Я.Б. Княжнина: стихи, которые издатель придумал и вынес в эпиграф главы, словно и в самом деле являют собой обмен репликами персонажей какой-нибудь княжнинской комедии, например «Хвастуна»:

— Не гневайтесь, сударь: по долгу моему  
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.  
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,  
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Приказ об аресте Петруши последовал почти немедленно после того, как он был остановлен караульными и «на вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: "Государев кум со своею хозяйскою"». Оказалось, что не на соединение к самозванцу собирался расположенный в городке сильный отряд, а к очередному походу против Пугачева. И кто знает, как сложилась бы судьба Гринева, если б во главе этого сильного гусарского отряда не оказался первый Петрушин наставник разгульной гусарской жизни, которого Гринев встретил некогда в Симбирске, направляясь в Белогорскую крепость из родительского дома, и который взялся учить его игре на бильярде, опоил пуншем, обыграл, к великой горести Савельича, на сто рублей и в довершение свозил к некой беспутной Аринушке. Поэтому объясниться, согласно эпиграфу, с Зуриным Гриневу не составило труда: храбрый гусар симпатизировал Петруше и оставил его в отряде, где Гринев, отправив Марью Ивановну с Савельичем к своим родителям, и закончил войну. Но Зурин не мог воспрепятствовать новому аресту Гринева, которого приказано было «отправить под караулом в Казань, в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева».

Впрочем, немало повоевавший рядом с Петрушей, познавший, каков он в жизни и в ратном деле, Зурин, подчиняясь приказу и предположив, что, «вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства», выразил надежду на то, «что ты оправдаешься перед комиссией». Так что авторский эпиграф главы указывает, конечно, на Зурина стихами: «Не гневайтесь, сударь: по долгу моему / Я должен сей же час отправить вас в тюрьму». Но и стихи из того же эпиграфа: «...я в такой надежде, / Что дело объяснить дозволите мне прежде», — тоже вполне могут относиться и к Зурину. Ведь он знал от Петруши о его «дружеских путешествиях с Пугачевым», знал, чем и как объясняются эти дружеские поездки, и был убежден, что

Следственная комиссия тоже, как и он, не найдет в них ничего предосудительного.

Но для последней главы XIV, которую Гринев назвал «Суд», издатель выбрал в эпиграф народную пословицу, записав ее стихами:

Мирская молва —  
Морская волна.

Отдавал ли себе отчет издатель в том, что синтаксический параллелизм такого двуступия особенно наглядно указывает на искаженность, приблизительность, неточность рифмы: «молва — волна»? Вне всякого сомнения. Думаю, что этой оказавшейся в эпиграфе главы искаженностью, этой приблизительностью, этой неточностью он выразил суть того суда, который вершили над Гриневым сперва Следственная комиссия, поверившая оговору Швабрина, а потом и отец Петруши Андрей Петрович, поверивший приговору Следственной комиссии и особенно государыни, которая, как мы уже здесь писали, уважая заслуги и преклонные годы Андрея Петровича, избавила его сына от полагавшейся ему позорной казни и «повелела только сослать в отдаленный район Сибири на вечное поселение».

А ведь перед этим Марья Ивановна рассказала родителям Петруши о его знакомстве с Пугачевым, причем так рассказала, что это знакомство их сына «не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца». И Савельич, которого Андрей Петрович строго допросил, «не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал». И вот — сообщение о приговоре, который «едва не убил» Гринева-старшего: «Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге... <...> Стыд и срам нашему роду!..»

М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина не первые, кто указывают, что в словах Гринева-отца о своем пращуре, казненном на Лобном месте, «можно усмотреть автобиографический контекст, соотношение судьбы рода Гриневых и Пушкиных — достаточно вспомнить строки из "Моей родословной"»:

Упрямства дух нам всем подгадил: В  
родню свою неукротим, С Петром  
мой пращур не поладил И был за то  
повешен им»<sup>95</sup>.

95 Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. соч. С. 160.

Но для чего бы Пушкину было здесь намекать на судьбу своего пращура? Чем обогатил бы такой намек содержание «Капитанской дочки»? По-моему, ничем. К тому же сближать пушкинского пращура с Гриневским («автобиографический контекст») — значит игнорировать историческую реальность. Не мог пращур Андрея Петровича Гринева не то что быть казненным Петром, но хотя бы жить в его эпоху. Ведь отец старшего Гринева пострадал вместе с Волынским и Хрущевым, арестованными и казненными в 1740 году за противодействие политике всевластного герцога Бирона, фаворита Анны Иоанновны. То есть пострадал отец Андрея Петровича (дед Петруши) через пятнадцать лет после смерти Петра I или через шестьдесят восемь лет после рождения первого российского императора. А пращур — это даже не прадед, это отец прапрадеда. Стало быть, задолго до Петра оборвалась жизнь пращура Андрея Петровича Гринева на Лобном месте, специально отведенном для казни на Красной площади в Москве.

Заставив Андрея Петровича вспоминать о судьбах своих пращура и отца, Пушкин не столько обозначает этим вехи русской истории, сколько показывает, что до ареста Петруши род Гриневых был уважаем и самоуважаем: он ничем не был осрамлен, ему нечего было стыдиться. Что, кстати, подтвердил и генерал, председательствующий на допросе Петруши в Следственной комиссии. Узнав, что Гринев — сын Андрея Петровича, генерал выразил суровое сожаление, «что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» (а мы тем самым получили лишнее свидетельство лояльности Андрея Петровича царствующей императрице, ибо, будь он в оппозиции к ней, вряд ли генерал выражает ему свое почтение!).

И убитый горем Андрей Петрович тоже считает, что сын его недостойн их рода. Дворянин, изменивший присяге, по мнению Гринева-старшего, безусловно, заслуживает казни если не физической, то гражданской. Поэтому следующим образом напутствует Марью Ивановну, уезжающую из его дома: «Дай Бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». «Ошельмованный» — значит страшно наказанный, объявленный вором (шельм — по-немецки) дворянин за тяжкое государственное преступление. В знак такого наказания (шельмования), установленного Петром I, палач ломал шпагу над головой преступника, которого лишали всех гражданских прав.

Пушкинский текст совершенно недвусмысленно свидетельствует о том, что Следственная комиссия не оправдала надежд, которые возлагал на нее Зурин: не сняла с Гринева клейма государственного преступника. Хотя поначалу вроде преклонила ухо к чистосердечному рассказу Петруши об удивительных обстоя-



тельствах, при которых он познакомился с Пугачевым, о том, что именно избавило Гринева от неминуемой казни в Белогорской крепости.

Но не смог любящий Петруша рассказывать членам комиссии о своей любви, не захотел впутывать в эти следственные дела Марью Ивановну, а без этого его отъезд из Оренбурга на территорию, подвластную Пугачеву, а затем и его поездка вместе с самозванцем в Белогорскую крепость оказывались вескими и неотразимыми аргументами обвинения, подтвержденного важным для комиссии свидетелем: дворянином, изменившим присяге, пугачевским комендантом Белогорской крепости Швабриным.

Однако, скорее всего, то обстоятельство, что ее не вызвали свидетельствовать по делу, о котором она много знала, заставило Марью Ивановну догадаться, что, не желая вовлекать ее в судебную волокиту и этим доставлять ей немало неприятных хлопот, ее жених не назвал на допросах ее имени. И она со свойственной ей бесстрашной решимостью поспешила на помощь любимому.

Любопытно, что, сообщая: «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию», — рассказывающий об этом Гринев, как правильно замечают М.И. Гиллельсон и И.Б. Мушина, «допустил анахронизм — во время пугачевщины городка Софии не существовало»<sup>96</sup>. Да, это так. Уездный городок Санкт-Петербургской губернии София был основан только в 1785 году — через десять лет после Пугачевского восстания (с 1808 года София стала частью Царского Села). Это тем более любопытно, что, описывая утреннюю прогулку Марьи Ивановны на следующий день после приезда по саду Царского Села, Гринев останавливает наше внимание на том, что его невеста идет «около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева». А этот памятник в честь победы в 1770 году в Молдавии при реке Кагуле (его называли Кагульский обелиск) семнадцатитысячного войска Румянцева над стапятидесятитысячным войском турецкого визиря Галиль-Бея был установлен в 1771 году. «Только что» вполне можно прочесть как «недавно», но, разумеется, задолго до основания Софии.

Почему Пушкин разрешает Гриневу этот анахронизм? Во-первых, повторимся, его Петруша — не летописец. Его семейственные записки — роман, а не хроника. А во-вторых, в данном случае Гринев честно предупреждает: «Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слы-

шал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал». Его анахронизм и есть наглядное художественное доказательство того, что пишет он о событиях многолетней давности с чужих слов, к тому же повторенных неоднократно и, как обычно это бывает, по-разному. Вполне возможно, что однажды рассказчик дал Гриневу сориентироваться, где же именно остановилась Марья Ивановна: дескать, на этом месте сейчас расположена София, а спустя время говорил уже о Софии как об этом месте.

Конец гриневских записок как бы зеркально отражает ситуацию с превращением мужика, который вывел лошадей Гринева из буранной мглы к постоялому двору, в Пугачева, — дама с собачкой, с которой довелось побеседовать Марье Ивановне на утренней прогулке в Царском Селе, оказалась, как скоро выяснится, императрицей Екатериной. И время на дворе стоит то же самое — еще далеко не поздняя осень. Но какая оглушительная разница в предзнаменованиях, которые подает героям природа. Грозный, неожиданный снежный буран в степи и гармоническое совершенство Царскосельского сада: «Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно». И еще одна существенная разница по сравнению со встречей Гринева с черным мужиком: Марья Ивановна отправилась на утреннюю прогулку в Царское Село, не только узнав, что там сейчас находится царский двор, но после того, как гостеприимная Анна Власьева, жена смотрителя и племянница придворного истопника, «посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей»<sup>97</sup>, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней...». Так что вышла утром в сад Марья Ивановна в явной надежде встретиться с императрицей. И не узнала ее в даме с собачкой наверняка потому, что не было при ней никаких вельмож. А саму императрицу Марья Ивановна никогда не видела.

Кроме того, дама «была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке». Я не думаю, что правы те многочислен-

<sup>96</sup> Я не оговаривал специально, что в данном месте «Капитанской дочки» в пушкинском «Современнике» напечатано «кофе» и что публикаторы заменили его на «кофей», объяснив, что в большинстве произведений Пушкин пишет именно так и что сам он так и произносил это слово. Но, судя по словарю Даля, слово «кофе» встречается в русских говорах. И вполне возможно, что оно бытовало в тех уральско-поволжских местах, откуда родом Петруша и Маша. Все-таки пишущий по воспоминаниям скорее всего Марьи Ивановны Гринев не передает сейчас особенностей произношения слов Анны Власьевны. А в таком случае замена слова публикаторами вряд ли окажется оправданной.

<sup>96</sup> Там же. С. 161.

ные исследователи, которые утверждают, что свою Екатерину Пушкин словно списал с известного портрета В.Л. Боровиковского, где императрица стоит в белом платье с собачкой у Каптульского обелиска в Царском Селе. Что общего между спокойной мудрой властительницей с короной на голове (так изобразил ее художник) и одетой по-домашнему (ночной чепец, душегрейка), сидевшей на скамейке «противу памятника» дамой, чьи «голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую»? Отведем от Пушкина упрек М.И. Гиллельсона и И.Б. Мушиной в обрисовке «несколько сусального облика Екатерины II»<sup>98</sup>, заметив, что неизъяснимую прелесть имеют глаза и улыбка незнакомки для бросившей на нее несколько косвенных взглядов Маши Мироновой, у которой, как мы уже установили, вещее сердце. Маше показался приятным и голос дамы, которая успокоила Марью Ивановну, говоря про свою собачку: «Не бойтесь, она не укусит». Так что говорит Маша с ней, ощущая симпатию и доверие к собеседнице.

Она пока не знает, с кем именно разговаривает, поэтому на вопрос незнакомки: что заставило ее приехать из провинции, — отвечает: «...подать просьбу государыне».

« — Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия».

«От государыни, — пишут И.З. Сурат и С.Г. Бочаров, — Маша ждет того же, что нашел ее суженый у другого "великого государя"»<sup>99</sup>. Но дождалась, заметим, совсем иного.

«Слушай, — говорил Гринев Пугачеву, когда тот помог ему вырвать Марью Ивановну из рук Швабрина. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но Бог видит, что жизни моей рад бы я заплатить за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...» «Ин быть по-твоему! — отвечал ему Пугачев. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай».

Иными словами, что хочу, то и делаю, и никто мне в этом не указ!

<sup>98</sup> Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Указ. сом. С. 165.

<sup>99</sup> Сурат И., Бочаров С. Указ. соч. С. 177.

Екатерина как верховный правитель уже воспользовалась своим юридическим правом смягчать участь преступника: из уважения к отцу Гринева заменила казнь, определенную Следственной комиссией его сыну, вечным поселением. Так что снова просить у нее для Петруши «милости, а не правосудия», даже если при этом она симпатизирует просителю, — дело безнадежное.

«Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй».

В этом прежде всего смысл повторения эпизода встречи героя и того, кто в будущем объявит о себе как о властителе, в главе, которая называется «Суд». Потому и неправеден суд л о ж н о г о властителя, такого, допустим, как Пугачев, что тот убежден: законы писаны не для него. И с т и н н ы й же правитель, по мысли Пушкина (и эта мысль лежит в основе историософской концепции его романа), утверждает в стране не произвол, а правосудие. В конце концов Екатерина осуществляет его и по отношению к Гриневу, о чем и говорит Марье Ивановне: «Я рада, что могла сдержать вам мое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невиновности вашего жениха». Но сделает это не прежде, чем внимательно выслушает Марью Ивановну, которая, как пишет Гринев, рассказала ей «все, что уже известно моему читателю». А все, что известно читателю, составляет цельный текст семейственных записок Гринева, в которых мирская молва хоть и подобна, конечно, морской волне, но волна эта не выходит из берегов нравственности, твердо исповедуемой Гриневым. Иначе говоря, Екатерина действует, основываясь на фактах, утаенных Гриневым от Следственной комиссии, но открытых императрице Марьей Ивановной.

Вот почему мне не кажется убедительным утверждение И.З.Сурат и С.Г. Бочарова о том, что Пугачев с императрицей якобы «с двух противоположных сторон помогают счастью любящей пары как их посаженные отец и мать»<sup>100</sup>. Помощь помощи рознь, и со стороны Пугачева она сопряжена с трагедией для любящей пары, о чем Маша никогда не забудет и с чем никогда не смирится! Недаром, услышав ласковые слова самозванца: «Выходи, красная девица: дарую тебе волю. Я государь», — она падает без чувств, догадавшись, «что перед нею убийца ее родителей». Пугачев, ложный Петр в мифе, а на самом деле Емельян («соперник, хитрец») обречен проиграть свое соперничество с прави-

<sup>100</sup> Там же. С. 175.

тельницей Российского государства даже в творимом добре, не в силах обхитрить ее в этом. Екатерина переводится с греческого как «чистая, непорочная». (Несомненно неслучайно, что императрица предстала перед Марьей Ивановной «в белом платье», а Пугачев перед Гриневым — «черным мужиком»: черный цвет в мифе всегда связан с бесовскими силами, белый — со светлыми.) Осуществляя такую свою функцию, она не только отменила неправедный приговор Петру Гриневу, но и еще раз продемонстрировала свое расположение к его отцу, написав ему письмо, которое «содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова». Написала, как видим, письмо не официальное и не казенное. И не так, как пишут опальному или оппозиционному адресату, а с заинтересованностью в судьбах его близких и с желанием его обрадовать. Получив такое письмо, Гринев-старший помимо прочего имел все возможности убедиться, насколько точно усвоил сын его наказ, с каким он, отец, отправлял Петрушу на государственную службу, наказ, преподанный сыну в виде поговорки, которую много лет спустя Петр Андреич вынес в эпиграф своей «Капитанской дочки»: «Береги честь смолоду»!

## 19 октября 1836 года

*(место заключения)*

Этот эпиграф, стоящий у начала романа, корреспондирует, помоему, с его концовкой, которая представляет собой календарную дату: «19 окт. 1836».

Очень многие исследователи решили, что Пушкин попросту обнародовал дату окончания «Капитанской дочки». Но публично выставлять даты под своими произведениями было не в пушкинских правилах. Кроме «Капитанской дочки» он сделал это лишь однажды в стихотворном диалоге «Герой», в котором собеседники по-разному относятся к посещению Наполеоном чумного госпиталя в египетской Яффе, где французский император пожал руку больному. Один восхищается подобным поступком, другой, ссылаясь на недавно опубликованное свидетельство историка (как выяснилось позже, недостоверное), настроен скептически — отрицает, что Наполеон пожимал руку чумному. Напечатанный впервые в «Телескопе» (1831. № 1), этот диалог имел такую концовку:

«29 сентября 1830

Москва».

Ее Пушкин сохранил и в дальнейшем, что и понятно: дата, выставленная под стихотворением, оказывалась очень значимой

для пушкинских современников. 29 сентября 1830 года в холерную Москву приехал Николай I.

А 19 октября, как всем известно, — праздничная дата для Пушкина и его лицейских друзей. В 1836 году в этот день отмечалось 25-летие Лицея. Пушкин не сумел закончить стихи, приуроченные к этой годовщине, которые тем не менее пытался прочесть своим товарищам-лицеистам, собравшимся в доме одного из них. Биограф Пушкина П.В. Анненков записал со слов лицейского друга Пушкина, как читал им стихи поэт, который «извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал при всеобщей тишине свою удивительную строфу:

Была пора: наш праздник молодой  
Сиял, шумел и розами венчался, —

как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю "лицейскую годовщину"»<sup>101</sup>.

«Слезы покатались из глаз» Пушкина при воспоминании о м о л о д о м празднике, когда все двадцать девять одноклассников могли собраться за праздничным столом. Не забудем, что уже в первом своем стихотворении «19 октября», написанном в 1825 году и обращенном к лицеистам, Пушкин вынужден был констатировать: «Увы, наш круг час от часу редее; / Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет...» И потерь в «нашем кругу» становилось все больше. В 1836 году отпраздновать двадцатипятилетие своей альма-матер пришло всего одиннадцать человек...

Верный себе Пушкин оставил в черновой рукописи подлинную дату окончания «Капитанской дочки»: «23 июля», после чего, правда, продолжал вносить изменения в текст романа. Но он внес изменения в его текст и после 19 октября 1836 года — учел, как мы же говорили, кое-какие замечания Вяземского, высказанные ему в ноябре. И все же к о н ц о в к о й р о м а н а сделал именно эту, знаменательную для лицеистов дату. Указал тем самым, что «Капитанская дочка» является его посланием лицейским друзьям, его подарком или его посвящением им. Ведь как показывают другие лицейские послания, или переписка Пушкина с друзьями-лицеистами, или их воспоминания о нем, как свидетельствует вообще все пушкинское творчество: береженная человеком честь — качество, особо ценимое Пушкиным в людях, за которое он уважал и любил своих лицейских товарищей.

<sup>101</sup> Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М, 1984. С. 378.

Другой пушкинский текст, на первый взгляд не относящийся к «Капитанской дочке», а на самом деле многое в ней объясняющий, Пушкин создал именно 19 октября 1836 года. В этот день он написал письмо П.Я. Чаадаеву, который передал ему через общего знакомого свой оттиск из журнала «Телескоп» (1836. № 15) — статью «Философические письма к г-же \*\*\*. Письмо 1». Несомненно, что он собирался отправить письмо, но оставил свое намерение, после того как близкий пушкинский знакомый К.О. Россет предупредил поэта, «чтоб вы еще раз прочли писанное вами письмо к Чаадаеву, а еще лучше отложили посылать по почте», поскольку, как писал К.О. Россет, «государь читал статью Чаадаева и нашел ее нелепою и сумасбродною»<sup>102</sup>.

К сожалению, объявленный сумасшедшим и не без основания ожидавший ареста П.Я. Чаадаев уничтожил письма многих своих друзей, в том числе и Пушкина. Но кое-какие пушкинские письма Чаадаеву сохранились. Сохранились и письма Чаадаева Пушкину. Переписка свидетельствует: Пушкин и прежде читал не только первое «Философическое письмо», одно время у него находилось несколько таких писем, которые он, очевидно, брался пристроить в печать, несмотря на то что был в основном не согласен со своим другом и не скрывал несогласия.

Он высказал удовлетворение фактом публикации письма Чаадаева в «Телескопе» и удивление, что оно смогло пройти через цензурные рогатки. (Через короткое время окажется, что Пушкин удивлялся не зря: репрессии себя ждать не преминули. Журнал был закрыт, издатель сослан, а цензор изгнан из своего ведомства!) Однако снова и с самого начала оговорил: «Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами».

Об их полемике написана огромная литература. По мнению многих, неотправленным этим письмом другу Пушкин начинал великий спор, продолженный славянофилами и западниками, почвенниками и либералами, «сменовеховцами» и теми, кто призывал к социальным потрясениям. Говорить о продолжении этого спора сегодняшними «патриотами» и их противниками было бы ничем не оправданной подменой понятий: ни славянофилы, ни почвенники, ни «сменовеховцы» не были ксенофобами, они брали под сомнение идеи, а не право того или иного народа быть тою на земле!

Впрочем, не полемика поэта с философом интересует нас сейчас в первую очередь. Не то, что Чаадаев считал великим злом для России Схизму (разделение церквей), которая отделила Рос-

сию от остальной Европы, а Пушкин не видел в этом трагедии для собственной страны. И не то, что философ писал о дикости, варварстве, нецивилизованности русского народа, который не имеет даже своей истории, а поэт этот тезис категорически опровергал. Нас интересует то, что, оспаривая Чаадаева, критически отнесся и к главному его утверждению: «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя»<sup>103</sup>, Пушкин в то же время и соглашался с ним: «...многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко» (Т. 16. С. 172-173, 393).

О том, что во все времена долг, справедливость, истина, человеческая мысль и достоинство, наконец, зависимость властей от общественного мнения — основание, на котором держится государство, обеспечивающее своим гражданам достойное и самодостаточное существование, Пушкин говорил «громко» не однажды. В последний раз в «Капитанской дочке». А до этого чуть ли не с раннего своего творчества — с оды «Вольность» (1817), утверждавшей примат Закона над правителем.

Да, Пушкин, как верно подметила Ирина Сурат, «свои надежды» в этой оде «связывал с монархией, причем — именно с личностью монарха, с его личной нравственной высотой»<sup>104</sup>. Однако ошибочно думать, что «грустная вещь» — «наша общественная жизнь» подтолкнула поэта к перемене этих убеждений, что Пушкин в конечном счете поменял историософскую концепцию, солидаризуясь с теми своими героями, кто взывает не к правосудию, а к милости. «В произведениях позднего Пушкина, — пишет в той же работе И.З. Сурат, — закон если и соотносится с монархией, то как жестокая карающая сила с человечностью — именно такая оппозиция лежит в основе сказочно-утопических сюжетов поэмы "Анджело" (1833) и "Капитанской дочке" (1832—1836); в "Капитанской дочке" это противопоставление закона и доброй воли монарха оформлено в обращении Маши Мироновой к императрице: "Я приехала просить милости, а не правосудия"..."<sup>105</sup>.

По-моему, речь о такой оппозиции заведена зря. Неотъемлемое право властителя, как сказано в стихотворной повести Пуш-

<sup>103</sup> Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 37.

<sup>104</sup> Сурат Ирина. Пушкин о назначении России // Новый мир. 2005. № 6. С. 124.

<sup>105</sup> Там же.

<sup>102</sup> Переписка А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 290.

кина «Анджело», — «законы толковать, смягчить их смысл ужасный...» Неотъемлемое и никем неоспоримое. Разумеется, чтобы «толковать», смягчая, нужна добрая воля — «милость» того, кто этим занялся. К ней обращается обычный обыватель — пушкинский герой в надежде на то, что подобная милость будет проявлена. Но властитель, по Пушкину, раннему и позднему, всегда обязан сознавать, что явленная им милость не расхочется с правосудием, что нарушать закон он не вправе. В частности, это доказывают и «Анджело», и «Капитанская дочка».

Анализировать пушкинского «Анджело» не входит сейчас в нашу задачу. Могу только заметить, что уже в начале повести ее герой — «предобрый» правитель Дук — уныло взирает, как, по существу, бездействовал в его государстве закон. Утверждать, что в конце повести Дук снова подменил закон своей милостью, — значит признать, что Пушкин в данном случае зря брался за перо: выходит, что его герой-правитель ничего не вынес из очень для него поучительных событий, составивших содержание повести<sup>106</sup>.

О том, чем руководствовалась Екатерина, отменившая неправедный приговор Гринеvu, мы уже говорили. Заметим еще, что действия императрицы, как и поступки любого героя романа, подсудны его эпиграфу: «Береги честь смолоду».

На мой взгляд, следует обратить внимание на то место в первом «Философическом письме» П.Я. Чаадаева, в которое просто не мог не взглянуть и которое не мог не оценить Пушкин, закончивший «Капитанскую дочку». Речь идет о положении дел в Европе, с одной стороны, и в России — с другой:

«Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо, касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с лаской матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка»<sup>107</sup>.

106 Подробный разбор этого произведения читатель найдет в кн.: Красухин Г.Г. Доверимся Пушкину: Анализ пушкинской поэзии, прозы и драматургии. М. 1999. С. 328-362.

<sup>107</sup> Чаадаев П.Я. Указ. соч. С. 39.

В «Капитанской дочке» Пушкин писал не о своей современности, в оценке которой, как мы уже замечали, он не слишком далеко уходил от Чаадаева. Но и прошлое отечества под пером Пушкина оказывалось в его романе нравственно близким к тому, какой описывал Европу Чаадаев. Кто из них приукрашивал или очернял историю?

Никто. Оба писали об идеальном положении дел в тех странах, каким симпатизировали. К тому же не следует забывать о жанре «Капитанской дочки», который роман-миф, роман-сказка. В сказке, в мифе идеальное торжествует над всем остальным по определению. А в романе торжествует историософская концепция Пушкина, которую лучше не ограничивать форматом триады «свобода, просвещение, монархия», как сделала И.З. Сурат<sup>108</sup>, а добавить к этой характеристике, точнее, начать ее со слова «закон». В конечном счете о том, какое место занимает закон в жизни ее героев, как они относятся к закону, и написана «Капитанская дочка». К ним ко всем взывает ее эпиграф «Береги честь смолоду»!

108 Сурат Ирина. Указ. соч. С. 125.

## Рекомендуемая литература

- Пушкин А.С. Капитанская дочка. М., 1964 (Лит. памятники).
- Пушкин А.С. Капитанская дочка. Л., 1984 (Лит. памятники. 2-е изд., доп. 1-е изд. подготовил Ю.Г. Оксман).
- Алпатова Т.А. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Взаимодействие прозы и поэзии: Учебное пособие. М., 1993.
- Альми И.Л. О некоторых особенностях литературного характера в пушкинском повествовании // Болдинские чтения. Горький, 1986.
- Архангельский А.Н. Герои Пушкина: Очерки литературной характеристики. М., 1999. С. 124-137.
- Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. М., 1981. С. 490.
- Белькин В.С. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Сюжет, композиция, жанр // Сюжетосложение в русской литературе. Даугавпилс, 1980.
- Борисова В.В. «Калмыцкая» сказка в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка» // Фольклор народов РСФСР. Уфа, 1998. Вып. 15. С. 108-118.
- Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959. С. 591—600.
- Воробьев В.П. Слово «шаматон» в повести Пушкина «Капитанская дочка» // Учен. зап. Саратовского пед. института. 1958. Вып. XXXIV. С. 227—231.
- Гей Н.К. «Капитанская дочка» // Гей Н.К. Проза Пушкина: Поэтика повествования. М., 1989. С. 196—249.
- Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1977.
- Гиришман М.М., Стулищенко Л.П. Авторская позиция и особенности организации повествования в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина // Вопросы русской литературы. Вып. 1. Львов, 1979. С. 40—47.
- Гиришман М.М., Стулищенко Л.П. О жанре «Капитанской дочки» // Вопросы русской литературы. Вып. 1. Львов, 1982. С. 90—96.
- Граник Г.Г., Концевая Л.А. Психологический анализ художественного текста в учебнике «Русская филология» (А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). Сообщение 1 // <http://www.psyedu.ru/view.plip?id=204>.
- Грибушин И.И. О песнях «Капитанской дочки» // Временник Пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979. С. 85-89.
- Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 370-378.
- Зорин А. Выход из лабиринта. М., 2005. С. 394—406.
- Иваницкий А.И. Исторические смыслы потустороннего Пушкина: К проблеме онтологии петербургской цивилизации. М., 1998. С. 215—238.
- Карпов А.А. Об источнике стихотворения Гринёва // Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982. С. 140—142.
- Касатонов В.Н. Хождение по водам: (Религиозно-нравственный смысл «Капитанской дочки» А.С. Пушкина) // Пушкин А.С. «Капитанская дочка». Калуга, 1999.
- Ключевский В.О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину // Ключевский В.О. Сочинения: В 8 т. М., 1956—1959. Т. 7. С. 146-152.
- Краснов Г.В. Реальность романического: (Случай и случайность в «Капитанской дочке») // Краснов Г.В. Боддино. Пушкинские сюжеты. Н.Новгород, 2004. С. 108-121.
- Красухин Г. Гринев и его издатель // Вопросы литературы. 2005. Март-апрель. С. 124-160.
- Лескисс Г.А. Пушкинский путь в русской литературе. М., 1993. С. 446-484.
- Лотман Ю.М. Идеальная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995. С. 212-227.
- Лурье С. Ирония и судьба: (Заметки о «Капитанской дочке» Пушкина) // Аврора. 1978. № 6.
- Мазур И. «Не бось, не бось»: о народном шиболете в «Капитанской дочке» // <http://www.ruthenia.ru/document/532953/html>
- Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л., 1982. С. 347-461.
- Маранциман В.Г. Изучение А.С. Пушкина в школе. На пути к А.С. Пушкину: Пособие для учителя и учащихся: В 2 ч. Ч. 1. М., 1999.
- Непомнящий В.С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной биографии Пушкина. 2-е изд., доп. М., 1987. С. 245—247.
- Осват А.Л. Из комментария к «Капитанской дочке» // <http://www.ruthenia.ru/document/530953/html>
- Петрунина Н.Н. «Капитанская дочка» // Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987. С. 241—287.
- Полтавец Е. «Незванные гости» и «самозванцы» в «Капитанской дочке» // «Литература». 2004. № 25-26. С. 39-51.
- Полтавец Е.Ю. Размышление о жанре «Капитанской дочки» и о том, кто кому вожатый // Литература в школе. 2005. № 7.
- Прянишников Н.Е. Проза Пушкина: (Из наблюдений над поэтикой «Капитанской дочки») // Прянишников Н.Е. Записки словесника. Оренбург, 1963. С. 5-26.
- Резников Вячеслав, священник. Размышление на пути к Вере. М., 1999.
- Смирнов И.П. От сказки к роману // История жанров в русской литературе X—XVII вв. Л., 1973. С. 306—308. (Труды отдела древнерусской литературы. Вып. XXVII).

Степанов П.А. К истории создания «Капитанской дочки» (Пушкин и книга «Ложный Петр III») // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 14, СПб., 1991. С. 220-234.

Сурат И. Пушкин о назначении России // Новый мир. 2005. № 6. С. 120-129.

Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002. С. 172-178.

Цветаева М. Пушкин и Пугачев // Цветаева М. Мой Пушкин. М., 1981. С. 77-107.

Чайковская О. Гринев // Новый мир. 1987. № 8. С. 226—244.

Черняев Н.И. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина: Историко-критический этюд. М., 1897.

Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. 2-е изд. М., 1955. С. 45-86.

Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914-1933). М., 1990. С. 343-346.

Якубович Д. П. Об эпитафиях к «Капитанской дочке» // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И. Герцена. 1949. Т. 76. С. 111-135.

Помимо этого см. очень подробную библиографию в книге: Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: Комментарий: Пособие для учителя. Л., 1977. С. 186—191.

## Указатель имен

Айхенвальд Ю.И. 18 Аксаков С.Т. 38, Гиршман М.М. 122  
39 Алпатов Т.А. 73, 122 Альми И.Л. Гоголь Н.В. 7, 8, 72  
14, 122 Анна Иоанновна, русская Горький М. 18 Граник  
императрица 29, 111 Анненков П.В. Г.Г. 52, 88, 122 Грибушин  
18, 117 Апраксин С.Ф. 104, 105 И.И. 57, 122 Гуковский  
Архангельский А.Н. 59, 60, 122 Г.А. 122  
Афанасьев А.Н. 41, 42

Бартенев П.И. 35 Бахтин М.М. 20, Даль В.И. 49, 70, 72, 77, 98  
24 Белинский В.Г. 11, 18, 57, 58, 60, Долгорукий В.М. 32, 33  
122 Белобородов И.Н., сподвижник Достоевский Ф.М. 22  
Пугачева 82, 83, 90, 91 Белькинд

В.С. 122 Бенкендорф А.Х. 79 Бирон Евгенийева А.П. 25, 94 Екатерина II  
Э.-И. 111 Благый Д.Д. 27 Борисова 27, 28, 31-33, 43, 46. 78, 94, 97,  
В.В. 122 Боровиковский В.Л. 114 113-116, 120 Елизавета Петровна,  
Бочаров С.Г. 102, 114, 115, 124 русская императрица 28, 29. 33  
Бройтман С.Н. 19, 20 Брюс Я.А. 32 Жирмунский В.М. 20

Веселовский А.Н. 20 Виноградов Зорин А.И. 102, 103, 105, 122  
В.В. 122 Волынский А.П. ПО, 111 Зошенко М.М. 60  
Воробьев В.П. 26, 122 Вышинский  
А.Я. 67 Вяземский П.А. 7-9, 26, 117 Иван IV Грозный 87  
Иваницкий А.И. 48, 123

Гей Н.К. 14, 122  
Гиллельсон М.И. 13, 18, 20, 26, 29, Карпов А.А. 53, 123  
30, 34, 48, 62, 72, 73, 112, 114. 122. 124 Касатонов В.Н. 22, 89, 99, 101, 106,  
107, 123  
Ключевский В.О. 80, 123  
Княжнин Я.Б. 24, 25, 49-51, 109  
Концевая Л.А. 52, 88, 122  
Корсаков П.А. 17  
Котельников В.А. 21  
Краснов Г.В. 93, 123

Лахно С.Н. 38

Лесскис Г.А. 32, 93  
Лотман ЮМ. 92, 94, 99, 100, 123  
Лурье С.А. 123  
Мазур Н.Н. 95-97, 123  
Майков Л.Н. 81  
Макогоненко Г.П. 21, 34, 123  
Максимович М.А. 38  
Маранцман В.Г. 21, 37, 66, 67, 123  
Миних Б.-Х. А. 27-29, 32, 33, 47  
Модзштевский Б.Л. 53  
Мушина И.Б. 13, 18, 20, 26, 29, 30,  
34, 48, 62, 72, 73, 112, 114, 122, 124

Наполеон I Бонапарт 116  
Непомнящий В.С. 39, 123  
Николай I 79, 117 Новиков Н.И.  
53

Одоевский В.Ф. 17, 58, 60 Оксман  
Ю.Г. 6, 21, 122 Осповат А.Л. 46-48,  
123 Островский А.Н. 59 Отрепьев  
Г.(?). — Лжедмитрий 1 87

Петр I 31, 51, 65, 98, 111  
Петр III 28, 31, 32, 124  
Петрунина Н.Н. 123  
Полевой Н.А. 93  
Полтавец Е.Ю. 22, 23, 42, 99, 123  
Потемкин Г.А. 7, 8, 27, 47 Похлебкин  
В.В. 38, 97 Прянишников Н.Е. 123

Рассадин СБ. 13, 14  
Резников В.К. 11, 93, 124  
Рейнсдорп И.А. 28, 29  
Россет К.О. 118 Румянцев  
П.А. 112

Салтыков П.С. 104 Сарнов  
Б.М. 28, 31 Сенковский  
О.И. 58, 60

Скабичевский А.М. 18 Скатов Н.Н. 21  
Смирнов И.П. 40, 123 Степанов П.А.  
124 Страхов Н.Н. 21 Стулишенко Л.П.  
122 Сумароков А.П. 53—55, 75, 81  
Сурат И.З. 102, 114, 115, 119, 121, 124

Тамарченко Н.Д. 19 Тимофеев Л.И.  
18-20 Толстой Л.Н. 21, 22  
Томашевский Б.В. 19, 20, 37, 92  
Траубенберг М.М. 64, 65  
Третьяковский В.К. 54, 55 Турбин  
В.Н. 44 Тынянов Ю.Н. 35

Фермор В. В. 33  
Фонвизин Д.И. 12-15, 30, 33, 49  
Фридрих II Великий 29, 104, 105  
Фризман Л.Г. 38

Харлов З.(?) 80, 81 Харлова Л.Ф. 78-80  
Херасков М.М. 74, 75, 77 Хлопуша  
(Соколов А.Т.), сподвижник Пугачева  
82, 83, 91, 99 Хрушов (Хрушев) А.Ф.  
ПО, 111

Цветаева М.И. 14, 24, 73, 103, 124

Чаадаев П.Я. 118-121  
Чайковская О. Г. 124  
Чернышевский Н.Г. 18  
Черняев Н.И. 18, 80, 124  
Чулков М.Д. 53, 54

Шкловский В.Б. 18, 40, 83, 124

Якубович Д.П. 124

*Учебное издание*

**Красухин Геннадий Григорьевич**

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РОМАНУ А.С. ПУШКИНА  
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»**

Зав. редакцией Г.М.  
Степаненко

Редактор Л.  
В. Кутукова

Обложка художника  
А.А. Умуркулова

Художественный редактор  
Г.Д. Колоскова

Технический редактор З. С.  
Кондрашова

Корректоры А.Я.  
Марьясис, Н.И. Коновалова

Верстка Н.И.  
Филимонова